

ЧЕЛО

ВЕК

РОБЕРТ МУЗИЛЬ

БЕЗ

СВОИМ



СТВ

1

Роберт Музиль

**Человек без свойств. Том 1**

«РИПОЛ Классик»

1930-1943

УДК 82  
ББК 84(4Авс)

**Музиль Р.**

Человек без свойств. Том 1 / Р. Музиль — «РИПОЛ Классик»,  
1930-1943

ISBN 978-5-521-00418-8

Самый известный роман австрийского писателя, драматурга и эссеиста Роберта Музиля (1880–1942) «Человек без свойств» так и не был закончен, но, несмотря на это, стал важнейшей вехой в истории немецкоязычной литературы XX века наряду с лучшими произведениями Томаса Манна, Стефана Цвейга и Лиона Фейхтвангера.

УДК 82  
ББК 84(4Авс)

ISBN 978-5-521-00418-8

© Музиль Р., 1930-1943  
© РИПОЛ Классик, 1930-1943

## Содержание

Часть первая. Своего рода введение	7
1. Откуда, надо заметить, ничего не вытекает	7
2. Дом и жилище человека без свойств	9
3. Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами	11
4. Если есть на свете чувство реальности, то должно быть и чувство возможности	13
5. Ульрих	15
6. Леона, или Смещение перспективы	17
7. В состоянии слабости Ульрих приобретает новую возлюбленную	20
8. Какания	24
9. Первая из трех попыток стать выдающимся человеком	27
10. Вторая попытка. Предпосылки морали человека без свойств	28
11. Самая важная попытка	30
12. Дама, чьей любви Ульрих добился после одного разговора о спорте и мистике	32
13. Гениальная скаковая лошадь способствует созреванию убеждения, что ты – человек без свойств	34
14. Друзья юности	37
15. Духовный переворот	42
16. Таинственная болезнь времени	44
17. Воздействие человека без свойств на человека со свойствами	47
18. Моосбругер	53
19. Увещевание письмом и случай приобрести свойства.	59
Конкуренция двух вступлений на престол	
Часть вторая. Происходит все то же	61
20. Соприкосновение с реальностью. Несмотря на отсутствие свойств, Ульрих действует энергично и пылко	61
21. Истинное изобретение параллельной акции графом Лейнсдорфом	64
22. Приняв обличье влиятельной дамы неопишемого интеллектуального обаяния, параллельная акция готова проглотить Ульриха	67
23. Первое вмешательство великого человека	70
24. Собственность и образованность; дружба Диотимы с графом Лейнсдорфом и служба приведения знаменитых гостей к единству с душой	72
25. Недуг замужней души	76
26. Слияние души и экономики. Человек, способный соединить их, хочет насладиться барочным очарованием старой австрийской культуры. Благодаря этому рождается идея для параллельной акции	79
27. Суть и содержание великой идеи	81
28. Глава, которую может пропустить всякий, кто не очень высокого мнения о занятости мыслями	82

29. Объяснение и нарушения нормального режима сознания	84
30. Ульрих слышит голоса	87
31. На чьей ты стороне?	88
32. Забытая, чрезвычайно важная история с супругой одного майора	90
33. Разрыв с Бонадеей	94
34. Горячий луч и остывшие стены	95
35. Директор Лео Фишель и принцип недостаточного основания	98
36. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое	100
37. Один публицист доставляет изобретением «австрийского года» большие неприятности графу Лейнсдорфу; его сиятельство крайне нуждается в Ульрихе	102
38. Кларисса и ее демоны	105
39. Человек без свойств состоит из свойств без человека	109
40. Человек со всеми свойствами, но они ему безразличны.	111
Князь духа попадает под арест, и параллельная акция получает почетного секретаря	
41. Рахиль и Диотима	119
42. Великое заседание	122
Конец ознакомительного фрагмента.	125

# Роберт Музиль

## Человек без свойств. Том 1

Robert Musil  
Der Mann Ohne Eigenschaften

© Апт С. К., наследники, перевод на русский язык, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,  
2017

\* \* \*

## Часть первая. Своего рода введение

### 1. Откуда, надо заметить, ничего не вытекает

Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, – и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, – стоял прекрасный августовский день 1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глубоких улиц на отмели светлых площадей. Пешеходы тянулись темными мглистыми потоками. Там, где их вольную поспешность перерезали более мощные скорости, они утолщались, текли затем быстрее и, немного попетляв, опять обретали свой равномерный пульс. Сотни звуков сливались в могучий гул, из которого поодиночке выступали вершины, вдоль которого тянулись и снова сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от которого откалывались и отлетали звонкие звуки. По этому шуму, хотя особенность его описанию не поддается, человек после многолетнего отсутствия с закрытыми глазами узнал бы, что он находится в имперской столице Вене. Города можно узнавать по походке, как людей. Открыв глаза, он определил бы то же самое по характеру уличного движения гораздо раньше, чем ему подсказала бы это какая-либо примечательная деталь. И даже если он только воображает, что смог бы определить, тоже не беда. Переоценка вопроса о том, где ты находишься, идет от времен кочевого быта, когда надо было примечать места пастбищ. Интересно узнать, почему, когда речь идет о красном носе, довольствуются весьма неточной констатацией, что он красен, и никогда не спрашивают, какого именно он красного цвета, хотя это можно с точностью до микрона выразить через длину волны; а когда речь идет о такой намного более сложной вещи, как город, где кто-то находится, всегда хотят точно знать, какой именно город имеется в виду. Это отвлекает от более важного.

Не надо, стало быть, придавать особое значение названию города. Как все большие города, он состоял из разнобоя меняющихся, забегающих вперед, отстающих, сталкивающихся предметов и дел, из бездонных точек тишины между ними, из проторенных путей и бездорожья, из большого ритмического шума и из вечного разлада и сдвига всех ритмов и в целом походил на kloкочущий кипятик в сосуде, состоящем из прочного материала зданий, законов, установлений и традиций. У тех двух, что шли в этом городе по широкой оживленной улице, такого впечатления, разумеется, вовсе не было. Они явно принадлежали к привилегированному слою общества, были аристократичны в одежде, осанке и манере говорить друг с другом, носили на белье свои со значением вышитые инициалы и точно так же, то есть не напоказ, а в тонком нижнем белье своего сознания, знали, кто они такие и что в имперской столице они на месте. Если предположить, что их имена Арнгейм и Эрмелинда Туцци, – что, однако, не соответствует действительности, ибо госпожа Туцци находилась в августе в обществе своего супруга в Бад Аузее, а доктор Арнгейм еще в Константинополе, – то напрашивается вопрос, кто же они. Люди живого ума очень часто встречают на улицах такие вопросы. Решение их, надо заметить, состоит в том, что их забывают, если не могут в течение следующих пятидесяти шагов вспомнить, где уже видели этих двоих. Но вот пара эта внезапно остановилась, потому что впереди столпился народ. Уже на мгновение раньше что-то выскочило из ряда, двинулось

наискось; что-то крутнулось, скользнуло в сторону, – тяжелый, резко затормозивший грузовик, как оказалось теперь, заехав одним колесом на кромку тротуара, сидел на мели. Как пчелы вокруг летка, сразу скопились люди вокруг пяточка, который они оставили незаполненным. Там, выйдя из своей машины, стоял шофер, серый, как оберточная бумага, и объяснял происшествие, грубо жестикулируя. Взгляды подходивших устремлялись на него, а потом осторожно спускались в глубину прогалины, где кто-то, недвижимый, как мертвец, был уложен на край тротуара. Он пострадал из-за собственной неосторожности, как все признали. Люди попеременно опускались возле него на колени, чтобы что-нибудь с ним предпринять, распахивали и снова запахивали его пиджак, пытались приподнять его или, наоборот, вновь уложить; никто, собственно, не преследовал этим никакой другой цели, кроме как заполнить время, пока со спасательной службой не прибудет умелая и полномочная помощь.

Дама и ее спутник также подошли и поглядели поверх голов и согнутых спин на лежавшего. Затем они отошли назад и помедлили. Дама почувствовала что-то неприятное под ложечкой, что она вправе была принять за сострадание; это было нерешительное, сковывающее чувство. Господин после некоторого молчания сказал ей:

– У этих тяжелых грузовиков, которыми здесь пользуются, слишком длинный тормозной путь.

Дама почувствовала после таких слов облегчение и поблагодарила внимательным взглядом. Она уже несколько раз слышала это выражение, но не знала, что такое тормозной путь, да и не хотела знать; ей достаточно было того, что сказанное вводило этот ужасный случай в какие-то рамки и превращало в техническую проблему, которая ее непосредственно не касалась. Да и слышна была уже резкая сирена «скорой помощи», и быстрота ее прибытия наполнила удовлетворением всех ожидавших. Замечательная вещь – эти социальные службы. Пострадавшего положили на носилки и вдвинули вместе с ними в машину. Вокруг него хлопотали люди в какой-то форменной одежде, и внутри кареты, насколько улавливал взгляд, все было так же опрятно и правильно, как в больничной палате. Уйти можно было с почти оправданным убеждением, что произошло нечто законное и правомерное.

– По американской статистике, – заметил господин, – там ежегодно из-за автомобильных катастроф гибнет сто девяносто тысяч и получает увечья четыреста пятьдесят тысяч человек.

– Вы думаете, он мертв? – спросила его спутница, у которой все еще было неоправданное чувство, что она присутствовала при чем-то из ряда вон выходящем.

– Надеюсь, он жив, – отвечал господин. – Когда его вносили в машину, он казался живым.

## 2. Дом и жилище человека без свойств

Улица, где произошел этот маленький несчастный случай, была одним из тех длинных, извилистых транспортных потоков, которые лучами вытекают из центра города, пересекают окраины и впадают в предместья. Задержись здесь наша изящная пара чуть дольше, она увидела бы нечто такое, что ей наверняка понравилось бы. Это был отчасти еще сохранившийся сад восемнадцатого или даже семнадцатого века, и, проходя мимо его решетчатой ограды из кованого железа, можно было увидеть между деревьями, на тщательно подстриженном газоне, что-то вроде небольшого, с короткими крыльями замка, охотничьего или предназначенного для любовных радостей замка минувших времен. Точнее говоря, его несущие арки остались от семнадцатого века, парк и верхний этаж отдавали восемнадцатым, фасад был обновлен и немного испорчен в девятнадцатом веке, так что все вместе казалось несколько смазанным, как фотографические снимки, сделанные один поверх другого; но все же при виде всего этого никак нельзя было не остановиться и не сказать «ах!». А когда это белое прелестное здание отворяло свои окна, взгляду открывалась благородная тишина уставленных книгами стен жилища ученого.

Это жилище и этот дом принадлежали человеку без свойств.

Он стоял за одним из окон, смотрел сквозь нежно-зеленый фильтр садового воздуха на коричневатую улицу и уже десять минут с часами в руке считал автомобили, экипажи, трамваи и размытые расстоянием лица пешеходов, заполнявших сеть взгляда торопливым снованием; он определял скорости, углы, кинетическую энергию движущихся физических тел, которые молниеносно притягивают, привязывают, отпускают глаз и в течение не поддающегося никакому учету времени заставляют внимание упереться в них, оторваться, перескочить к следующему и метнуться за ним; короче говоря, немного посчитав в уме, он со смехом спрятал часы в карман и пришел к заключению, что занимался ерундой... Если бы можно было измерить скачки внимания, работу глазных мускулов, колебательные движения души и все усилия, затрачиваемые человеком на то, чтобы удержаться на ногах в потоке улицы, получилась бы, наверно, – так он думал и забавы ради попытался вычислить эту невозможную сумму, – величина, по сравнению с которой сила, необходимая Атланту, чтобы удержать на себе мир, ничтожна, и можно было бы измерить, какую огромную работу совершает ныне даже человек ничего не делающий.

Ибо человек без свойств был сейчас таким человеком.

А делающий что-либо?

– Из этого можно извлечь два вывода, – сказал он себе.

Мышечная работа обывателя, который спокойно ходит целый день по своим делам, значительно больше, чем мышечная работа атлета, который раз в день выжимает огромный вес; это доказано физиологически, и, значит, мелкие обыденные усилия в их общественной сумме и благодаря тому, что они поддаются этому суммированию, вносят в мир, пожалуй, больше энергии, чем героические подвиги; героический подвиг представляется даже крошечным, как песчинка, с помпой водружаемая на гору. Эта мысль ему понравилась.

Но нужно прибавить, что понравилась она ему вовсе не потому, что он любил обывательскую жизнь; напротив, ему просто доставляло удовольствие создавать затруднения своим склонностям, которые когда-то были иными. Может быть, как раз обыватель-то и предчувствует начало огромного нового, коллективного, муравьиного героизма? Его назовут рационализированным героизмом и сочтут куда как прекрасным. Кто может знать это уже сегодня? А таких остававшихся без ответа вопросов тогда были сотни. Они носились в воздухе, они горели под ногами. Время двигалось. Люди, которые тогда еще не жили, не захотят этому поверить, но уже тогда время двигалось со скоростью верхового верблюда, а не только сегодня. Не знали

лишь куда. Да и не могли как следует разобраться, что было наверху, а что внизу, что шло вперед, а что назад.

– Можно делать что угодно, – сказал себе человек без свойств, пожимая плечами, – в такой сумятице сил это не имеет ни малейшего значения!

Он отвернулся, как человек, который научился отказываться, даже почти как больной, который боится всякого сильного прикосновения, и когда он, шагая через смежную гардеробную, проходил мимо висевшей там боксерской груши, он нанес ей такой быстрый и мощный удар, каких в смиренном настроении или в состоянии слабости обычно не наносят.

### **3. Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами**

Только, собственно, из озорства и потому, что он терпеть не мог обычных квартир, снял человек без свойств, не так давно вернувшись из-за границы, этот маленький замок, бывший некогда летней резиденцией перед городскими воротами, которая утратила свое назначение, когда ее поглотил разросшийся город, и стала в конце концов всего лишь пустующим, ждущим повышения цен на землю, никем не заселенным земельным участком. Арендная плата была соответственно низкой, но неожиданно много денег ушло затем на то, чтобы привести все в порядок и увязать с современными требованиями; это была авантюра, исход которой вынудил его обратиться за помощью к отцу, что ему, человеку без свойств, отнюдь не было приятно, ибо он любил свою независимость. Ему было тридцать два года, а его отцу шестьдесят девять лет.

Старик был в ужасе. Не от внезапной атаки, собственно, хотя и от нее тоже, ибо терпеть не мог опрометчивость, и не от затрат, на которые он должен был пойти, ибо, в сущности, ему было по душе, что сын его обнаружил потребность в домашнем быте и собственном устройстве. Но приобретение здания, которое, хоть и с прибавлением уменьшительного словечка, нельзя было определить иначе, чем замок, оскорбляло его чувства и пугало их, как чреватая бедой дерзость.

Сам он начинал домашним учителем в сиятельных домах – будучи студентом, а потом и молодым помощником адвоката, и, собственно, не от нужды, ибо уже отец его был состоятельным человеком. . . Позднее, однако, став университетским преподавателем и профессором, он почувствовал себя за это вознагражденным, ибо благодаря этим тщательно поддерживаемым связям постепенно сделался юридическим консультантом почти всей земельной аристократии своей родины, хотя теперь-то и вовсе не нуждался в побочном занятии. И даже долгое время после того, как приобретенное им таким путем состояние уже выдерживало сравнение с подарком семьи рейнских промышленников, которое некогда принесла рано умершая мать его сына, не прерывались эти добытые в молодости и укрепленные в зрелом возрасте связи. Хотя от настоящей адвокатуры уважаемый ученый теперь отстранился и лишь при случае занимался высокооплачиваемым арбитражем, все события, касавшиеся круга бывших его покровителей, тщательно регистрировались в его записях, с большой точностью переносились с отцов на сыновей и внуков, и не проходило ни одной свадьбы, ни одного дня рождения, ни одних именин без поздравительного письма с тонкой смесью почтительности и общих воспоминаний. Столь же пунктуально приходили каждый раз и короткие ответные письма, благодарившие дорогого друга и маститого ученого. Поэтому сын его с молодых ногтей знал этот аристократический талант почти бессознательно, но точно взвешивающего высокомерия, который безошибочно устанавливает меру любезности, и раболепие человека, принадлежащего как-никак к духовной аристократии, перед владельцами лошадей, пахотных земель и традиций всегда раздражало его. Но отец его был нечувствителен в этом пункте не по расчету: большую карьеру таким путем он сделал исключительно по природному побуждению, он стал не только профессором, членом академий и множества научных и государственных комитетов, но и рыцарем, комтуром, даже кавалером большого креста высших орденов, его величество наконец даровало ему потомственное дворянство и еще до того назначило членом Верхней палаты. Удостоившись этого отличия, он примкнул там к либерально-буржуазному крылу, которое иногда противостояло нобилитету, но характерно, что никого из его аристократических покровителей это не обижало и даже не удивляло; в нем ничего иного, чем дух поднимающейся буржуазии, никогда и не видели. Старик деятельно участвовал в специальных комиссиях по законодательству, и даже когда он при каком-нибудь бурном голосовании оказывался на буржуазной стороне, у противной стороны это вызывало не злость, а скорее чувство, что его просто не пригласили.

В политике он не делал ничего другого, чем то, что уже и прежде было его функцией: соединял превосходящее и порой мягко корректирующее знание с впечатлением, что на его личную преданность можно все-таки положиться, и, существенно не изменившись, как утверждал его сын, стал из домашнего учителя учителем верхнепалатным.

Когда он узнал об истории с замком, она показалась ему нарушением некой не определенной законом, но тем более требующей строгого соблюдения границы, и он осыпал своего сына упреками, еще более горькими, чем те, что он уже не раз делал ему в прошлом, звучащими даже как предсказание скверного конца, который, мол, теперь начался. Оскорблено было главное чувство его жизни. Как у многих, кто достиг чего-то значительного, состояло оно, далекое от своекорыстия, из глубокой любви к полезному, так сказать, вообще и сверхлично, другими словами – из честного уважения к тому, на чем строишь свою выгоду, уважения не оттого, что ты ее строишь, но в гармонии и одновременно с нею, а также и по общим причинам. Это очень важно; даже благородная собака ищет себе место под обеденным столом, не смущаясь тем, что ее пинают ногами, вовсе не из собачьей подлости, а из привязанности и верности, а люди холодного расчета не добиваются и половины того успеха в жизни, что души правильно смешанные, способные действительно любить людей и условия, которые приносят им выгоду.

## **4. Если есть на свете чувство реальности, то должно быть и чувство возможности**

Чтобы легко пройти в открытые двери, надо учитывать тот факт, что у них есть твердый косяк. Это правило, по которому всегда жил старый профессор, есть просто требование чувства реальности. Но если есть на свете чувство реальности, – а в его праве на существование никто не усомнится, – то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности.

Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то; нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и, если ему о чем-нибудь говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет. Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди восхищаются, ложным, а то, что они запрещают, дозволенным или и то и другое не имеющим ровно никакого значения. Такие люди возможности витают, как говорят, в облаках, в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами.

Когда хотят их похвалить, этих глупцов называют также идеалистами, но все перечисленные прозвища применимы только к слабой их разновидности, которая не может понять реальность или жалким образом избегает ее, то есть применимы тогда, когда отсутствие чувства реальности и в самом деле означает недостаток. Между тем возможное включает в себя не только мечтания слабонервных особ, но и еще не проснувшиеся намерения Бога. Возможное событие или возможная истина – это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность, нет, в возможном, по крайней мере на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное, огонь, полет, воля к созиданию и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как к изобретению. Чтобы проще было понять, чем отличаются люди с чувством реальности от людей с чувством возможности, достаточно подумать о какой-нибудь определенной сумме денег. Все возможности, какие содержит в себе, например, тысяча марок, она ведь содержит независимо от того, есть ли она у тебя или ее нет; тот факт, что она есть у меня или у тебя, так же ничего не прибавляет тысяче марок, как ничего не прибавляет какой-нибудь розе или какой-нибудь женщине. Но дурак прячет эти деньги в чулок, говорят люди реальности, а способный человек делает с ними что-то; даже к красоте женщины тот, кто ею владеет, несомненно, что-то прибавляет или, наоборот, что-то отнимает от ее красоты. Возможности пробуждают реальность, и нет ничего нелепее, чем отрицать это. И все-таки в сумме или в среднем всегда остаются одни и те же возможности, повторяющиеся до тех пор, пока не появится человек, для которого что-то реальное значит не больше, чем что-то мыслимое. Он-то лишь и дает смысл и назначение новым возможностям, и он пробуждает их.

Однако такой человек – явление не очень-то простое. Поскольку его идеи, если это не пустые химеры, суть не что иное, как еще не рожденные реальности, у него, естественно, тоже есть чувство реальности; но это чувство возможной реальности, а оно достигает своей цели куда медленнее, чем присущее большинству людей чувство их реальных возможностей. Этому человеку подавай, так сказать, лес, а другому хватит деревьев; но лес – это нечто такое, что трудно выразить, тогда как деревья означают столько-то и столько-то кубических метров древесины определенного качества. Или, может быть, лучше сказать иначе: человек с обычным чувством реальности подобен рыбе, которая клюет на удочку и не видит леску с крючком,

а человек с тем чувством реальности, которое можно назвать и чувством возможности, забрасывает удочку, понятия не имея, насажена ли наживка. Чрезвычайно равнодушно к хватающей наживку жизни навлекает на него опасность творить совершенно нелепые вещи. Непрактичный человек – а он не только кажется таковым, он таков и есть – всегда ненадежен, и в отношениях с людьми от него можно ждать всяческих неожиданностей. Он будет совершать действия, которые означают для него нечто иное, чем для других, но спокойно воспримет что угодно, если только это можно охватить какой-нибудь необычайной идеей. И к тому же сегодня он еще очень далек от последовательности. Вполне, например, возможно, что преступление, наносящее ущерб другому, покажется ему всего лишь социальным просчетом, виновен в котором не преступник, а устройство общества. Вряд ли, однако, пощечина, которую получит он сам, представится ему позором общества или хотя бы чем-то столь же безличным, как укус собаки; наверно, он сначала даст сдачи, а уж потом придет к мнению, что этого он не должен был делать. И уж конечно, если у него отнимут возлюбленную, то сегодня он еще не вполне способен отрешиться от реальности такого оборота дела и вознаградить себя новым, внезапным чувством. В данное время развитие в этом направлении еще продолжается и оборачивается для отдельно взятого человека как силой, так и слабостью.

И поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности и по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств.

## 5. Ульрих

Человека без свойств, о котором здесь повествуется, звали Ульрих, и Ульрих – неприятно звать все время по имени кого-то, с кем еще так мало знаком, но фамилию приходится ради его отца утаить, – Ульрих представил первый образчик своего способа думать уже на рубеже отрочества и юности в одном школьном сочинении на патриотическую тему. Патриотизм был в Австрии совершенно особым предметом. Германские дети, например, просто учились презирать войны австрийских детей, и им внушали, что французские дети – это внуки истощенных распутников, которые тысячами пускаются наутек при виде германского солдата с длинной окладистой бородой. И совершенно то же самое, только с перестановкой ролей и желательными заменами, заучивали тоже часто одерживавшие победы французские, русские и английские дети. А дети хвастуны, они любят играть в сыщиков-разбойников и всегда готовы считать семью Икс из Большого Игрековского переулка, если они случайно к ней принадлежат, самой главной семьей на свете. Их, стало быть, легко склонить к патриотизму. Но в Австрии это было немного сложнее. Ибо хотя во всех войнах своей истории австрийцы побеждали, после большинства этих войн им приходилось что-нибудь да уступать. Это будит мысль, и в своем сочинении о любви к отечеству Ульрих написал, что серьезный друг отечества никогда не вправе считать свое отечество самым лучшим; больше того, в озарении, которое показалось ему особенно прекрасным, хотя он был слишком ослеплен его блеском, чтобы разобрать, что происходит, он прибавил к этой подозрительной фразе еще и вторую – что, наверно, и Бог, предпочитает говорить о своем мире в *conjunctivus potentialis*<sup>1</sup> (*hic dixerit quispiam* – здесь можно возразить...), ибо Бог создает мир, думая при этом, что сошло бы и по-другому... Ульрих был очень горд этой фразой, но, по-видимому, он выразился недостаточно ясно, ибо поднялся переполох и его чуть не исключили из школы, хотя никакого постановления так и не приняли, потому что не могли решить, чем считать его дерзкое замечание – хулой на отечество или богохульством. Он воспитывался тогда в аристократической гимназии Терезианского дворянского лица, поставившей самый благородный материал для столпов государства, и его отец, разгневанный тем, как посрамило его это далеко от яблони упавшее яблоко, отправил Ульриха на чужбину, в одно маленькое бельгийское воспитательное заведение, которое находилось в захолустном городке, управлялось с хорошей коммерческой хваткой и, при невысоких ценах, недурно зарабатывало на проштрафившихся учениках. Там Ульрих научился презирать идеалы других и в более крупном, международном масштабе.

С той поры пролетело, как облака по небу, шестнадцать или семнадцать лет. Ульрих не сожалел о них и гордости за них не испытывал, на тридцать третьем своем году он просто удивленно смотрел им вслед. За это время он побывал в разных местах, иногда ненадолго задерживался и на родине и везде занимался как почтенными, так и пустыми делами. Намеком уже дано было понять, что он был математик, и больше об этом не стоит распространяться, ибо на любом поприще, если подвизаешься на нем не ради денег, а из любви, наступает момент, когда кажется, что прибавление лет никуда не ведет. После того как этот момент продлился довольно долго, Ульрих вспомнил, что родине приписывают таинственную способность наделять мечты корнями и почвой, и осел там с чувством путника, который навеки садится на скамью, хотя предчувствует, что тотчас же встанет.

Когда он при этом, выражаясь на библейский лад, устраивал дом свой, он сделал одно открытие, которого, собственно, ждал. Он поставил себя перед приятной необходимостью полностью перестроить свое небольшое запущенное владение как пожелает. Все принципы, от чистой по стилю реконструкции до полной бесцеремонности, были к его услугам, и, соответ-

<sup>1</sup> В сослагательном наклонении, выражающем возможность (*лат.*).

ственно, все стили, от ассирийского до кубизма, должен был он мысленно перебрать. На чем следовало ему остановить выбор? Современный человек рождается в клинике и умирает в клинике, так пусть и живет как в клинике! – провозгласил недавно один ведущий зодчий, а другой реформатор интерьера потребовал передвижных стен в квартирах на том основании, что человек должен учиться доверять человеку, живя с ним вместе, и не вправе обособляться и замыкаться. Тогда как раз началось новое время (ведь это оно делает каждый миг), а новое время требует нового стиля. К счастью Ульриха, замок, каким он его застал, обладал уже тремя стилями, друг на дружке, так что с ним и правда нельзя было предпринять все, чего требовали; тем не менее Ульрих чувствовал себя очень взбудораженным ответственностью, накладываемой на него устройством дома, и угроза «скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты», которую он то и дело вычитывал в журналах по искусству, висела над его головой. После подробного ознакомления с этими журналами он пришел к выводу, что лучше уж ему взять в свои руки отделку собственной личности, и принялся собственноручно делать наброски будущей своей мебели. Но как только он придумывал какую-нибудь внушительно-громоздкую форму, ему приходило в голову, что ее вполне можно заменить технично скупой, функционально оправданной, а стоило ему набросать какую-нибудь истощенную собственной силой железобетонную форму, он вспоминал по-весеннему тощие формы тринадцатилетней девочки и начинал мечтать, вместо того чтобы принять решение.

Это были – в вопросе, всерьез его не очень-то трогавшем, – та знакомая бессвязность идей и то расширение их без средоточия, которые характерны для современности и составляют ее своеобразную арифметику, перескакивающую с пятого на десятое, но не знающую единства. Постепенно он стал выдумывать вообще только невыполнимые интерьеры, вращающиеся комнаты, калейдоскопические устройства, трансформируемые приспособления для души, и его идеи становились все более и более бессодержательными. Наконец он пришел к той точке, куда его тянуло. Отец его выразил бы это примерно так: кто может выполнить все, что ему ни заблагорассудится, тот вскоре уже и сам не знает, чего ему желать. Ульрих повторял себе это с великим наслаждением. Эта подержанная мудрость показалась ему исключительно новой мыслью. Человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предубеждениями, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, приобретет, может быть, ценность, зрелость и прочность... Невозможно и впрямь перечислить, что означает эта мысль! Так вот, человек без свойств, вернувшийся на родину, сделал и второй шаг, чтобы подвергнуться формирующему воздействию внешних обстоятельств, на этой точке своих раздумий он просто предоставил устройство своего дома гению своих поставщиков в твердом убеждении, что они-то уж позаботятся о традиции, предубеждениях и ограниченности. Сам он только освежил старые линии, оставшиеся здесь от прежних времен, темные оленьи рога под белыми сводами зальца, плоский потолок салона, а в остальном прибавил все, что казалось ему целесообразным и удобным.

Когда все было готово, он вправе был покачать головой и спросить себя: вот, значит, жизнь, которая должна стать моей?.. Он обладал очаровательным небольшим дворцом; дом этот просто следовало так назвать, ибо он был совершенно таким, каким воображают дворцы, этакой изысканной резиденцией для важного лица, каким его представляли себе мебельные, ковровые и санитарно-технические фирмы, главенствующие в своих областях. Только этот прелестный часовой механизм не был заведен, а то бы по въезду подкатили кареты с сановниками и знатными дамами; лакеи спрыгнули бы с запяток и недоверчиво спросили Ульриха: «Милый человек, где ваш хозяин?»

Он возвратился с заоблачной выси и сразу же снова обосновался в заоблачной выси.

## 6. Леона, или Смещение перспективы

Устроив дом свой, надо взять кого-то в жены себе. Ульриховская подруга тех дней звалась Леонтиной и была певицей в небольшом варьете; она была высокого роста, стройная и полная, раздражающе вялая, и называл он ее Леоной.

Она обратила на себя его внимание влажной темнотой глаз, болезненно-страстным выражением красивого, с правильными чертами, продолговатого лица и чувствительными песнями, которые она пела вместо непристойных. Содержание всех этих старомодных песенок составляли любовь, страдание, верность, одиночество покинутой, шум леса и блеск форели. Рослая и до мозга костей одинокая, стояла Леона на маленькой сцене и терпеливо пела их публике голосом домашней хозяйки, и если в ее исполнении все же попадались рискованные в нравственном смысле места, то в них уж и вовсе не было жизни, потому что и трагические, и игривые чувства эта девушка подкрепляла одинаковыми, старательно заученными жестами. Ульриху это сразу напомнило не то старинные фотографии, не то красавиц в немецких семейных журналах давно минувших лет, и, вдумываясь в лицо этой женщины, он открыл в нем множество черточек, которые никак не могли быть реальными и все же составляли это лицо. Конечно, во все времена есть все разновидности лиц; но вкус времени выделяет всегда какую-то одну и возводит ее в счастье и красоту, а все другие лица стараются тогда уподобиться такой разновидности; даже безобразным это более или менее удается с помощью прически и моды, никогда это не удается лишь тем, рожденным для странных успехов лицам, в которых, ничем не поступаясь, выражает себя величественный и отживший свой век идеал красоты прежней эпохи. Трусами прежних вожделений мелькают такие лица в великой пустоте любовного вихря; и, когда мужчины глазели в простор скуки, которой было исполнено пение Леонтины, и не понимали, что с ними происходит, крылья носа дрожали у них совсем от других чувств, чем при виде маленьких, дерзких, причесанных под «танго» певичек. Тогда-то Ульрих и решил назвать ее Леоной, и обладать ею показалось ему столь же желанным, как обладать большой, обработанной скорняком львиной шкурой.

А после того как началось их знакомство, Леона развила еще одно несовременное свойство: она была невероятно прожорлива, а это порок, ревностное служение которому давно вышло из моды. По своему происхождению это было прорвавшейся наконец страстью бедного ребенка к дорогим лакомствам, а теперь он обрел силу идеала, выпущенного наконец из клетки и захватившего власть. Ее отец был, по-видимому, добропорядочным мещанином, который каждый раз бил ее, когда она заводила поклонников; но делала она это исключительно потому, что страшно любила сидеть в садике какой-нибудь маленькой кондитерской и, чинно поглядывая на прохожих, есть ложечкой мороженое. Нельзя, правда, утверждать, что она не была чувствительна, но, коль скоро это дозволено, надо сказать, что и в этом, как во всем прочем, она была довольно-таки ленива и старалась не утруждать себя. В ее крупном теле каждому возбуждению требовалось удивительно много времени, чтобы дойти до мозга, и случалось, что среди дня глаза ее без причины увлажнились, а ночью бывали устремлены в какую-нибудь точку на потолке, словно наблюдая за сидевшей там мухой. Точно так же она иногда в полной тишине начинала смеяться над какой-нибудь шуткой, которая дошла до нее только теперь и которую за несколько дней до этого она спокойно выслушала и не поняла. Если у нее не было особой причины для противоположного, она вела себя вполне порядочно. Каким образом она вообще пришла к своей профессии, выведать у нее было невозможно. Видимо, она и сама это уже не помнила в точности. Выяснилось только, что исполнение песенок она считала необходимой частью жизни и связывала с ним все возвышенное, что когда-либо слышала об искусстве и о людях искусства, вследствие чего ей казалось очень правильным, педагогичным и благородным выходить ежевечерне на маленькую, окутанную сигарным дымом сцену и исполнять песни,

душераздирающее действие которых не подлежало сомнению. Разумеется, ее нисколько при этом не коробили нет-нет да попадавшиеся в текстах непристойности, потребные для оживления пристойного, но она была твердо убеждена, что первая певица императорской оперы делает в точности то же, что и она.

Конечно, если непременно называть это проституцией, когда человек отдает за деньги не, как то обычно бывает, всего себя, а только свое тело, то при случае Леона проституцией занималась. Но если в течение девяти лет, как она с шестнадцатого года своей жизни, знать скудость поденной платы на кабацкой эстраде, держать в голове цены на туалеты и на белье, вычеты, скупость и произвол хозяев, проценты от съеденного и выпитого увеселенными гостями и от счета за номер в соседней гостинице, если ежедневно иметь со всем этим дело, ссориться из-за этого и обладать коммерческой сметкой, тогда то, чем профан восхищается как разгулом, становится профессией, полной логики, целесообразности и сословных законов. Ведь как раз проституция это такая штука, которую видишь очень по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотришь – сверху или снизу.

Но хотя Леона имела вполне объективное представление о половом вопросе, у нее была и своя романтика. Только всякая экзальтация, всякое тщеславие, всякая расточительность, такие чувства, как гордость, зависть, сладострастие, скупость, готовность отдаться, короче – движущие силы личности и успеха в обществе связаны были у нее не с так называемым сердцем, а с *tractus abdominalis*, с пищеварительным процессом, с каковым они, кстати сказать, обычно связывались в прежние времена, что и сегодня можно наблюдать на примере дикарей или кутящих крестьян, которые умудряются выразить благородство чувств и все прочее, что отличает человека, с помощью пира, где полагается торжественно и со всеми сопутствующими явлениями обедаться. За столиками кафешантана Леона исполняла обязанности; но предметом ее мечтаний был кавалер, связь с которым на срок ангажемента избавила бы ее от этого и позволила ей сидеть в фешенебельной позе над фешенебельной карточкой кушаний в фешенебельном ресторане. Тогда бы она предпочла поесть сразу от всех имеющихся блюд, но в то же время ей доставляла болезненно-противоречивое удовлетворение возможность показать, что она знает, как надо выбирать и как составляют изысканное меню. Волю своей фантазии она могла давать лишь за небольшими десертами, и обычно из этого получался обильный второй ужин в обратной последовательности. Черным кофе и стимулирующим обилием напитков Леона восстанавливала свою вместительность и подхлестывала себя сюрпризами до тех пор, пока не утоляла своей страсти. А тогда ее чрево так наполнялось изысканными лакомствами, что чуть не разрывалось. Лениво сияя, она оглядывалась вокруг и, хотя вообще-то разговорчивостью не отличалась, любила в этом состоянии присовокуплять к съеденным ею изыскам ретроспективные замечания. Произнося «польмоне а-ля Торлонья» или «яблоки а-ля Мелвилл», она бросала эти слова так, как иной нарочито небрежно упоминает, что он беседовал с князем или лордом, носящим ту же фамилию.

Поскольку появляться с Леоной на людях было не совсем во вкусе Ульриха, он обычно устраивал ее кормление у себя дома, где она могла пировать в обществе оленьих рогов и стильной мебели. Но это не удовлетворяло ее социальных амбиций, и, когда неслыханнейшими яствами, какие может предложить ресторатор, человек без свойств побуждал ее к одинокой неумеренности, она чувствовала себя оскорбленной в точности так же, как женщина, которая замечает, что любят ее не из-за ее души. Она была красива, она была певица, ей нечего было прятаться, и каждый вечер к ней устремлялись желания нескольких десятков мужчин, которые подтвердили бы ее правоту. А этот человек, как ни хотел он быть с нею наедине, неспособен был даже сказать ей: «Боже мой, Леона, твоя ж... – это блаженство!» – и со смехом облизнуть усы при виде ее, как к этому приучили ее кавалеры. Леона немножко презирала Ульриха, хотя, конечно, хранила верность ему, и Ульрих это знал. Прекрасно знал он, кстати сказать, как принято вести себя в обществе Леоны, но времена, когда губы его в силах были произнести

что-либо подобное и когда эти губы носили усы, миновали слишком давно. А когда ты уже не способен на что-либо, что прежде умел делать, пусть даже это была величайшая глупость, то ведь это все равно как если бы у тебя отнялись руки и ноги. У него дрожали глазные яблоки, когда он глядел на свою подругу, которой ударили в голову еда и питье. Ее красоту можно было тихо отделить от нее. Это была красота герцогини, которую шеффелевский Эккехард<sup>2</sup> пронес через порог монастыря, красота всадницы с соколом на перчатке, красота легендарной императрицы Елизаветы с тяжелым венцом волос, очарование для людей, которые все уже умерли. Чтобы выразиться точно, она напоминала также божественную Юнону, но не Юнону вечную и непреходящую, а то, что связала с именем этой богини эпоха, которая прошла или проходит. Таким образом, мечта бытия облекала его материю довольно неплотно. Леона же знала, что за великосветское приглашение надо как-то платить, даже если пригласивший никаких желаний не выражает, и что нельзя просто позволять глазеть на себя; поэтому она вставала, как только вновь обретала такую способность, и начинала спокойно, но очень громко петь. Ее другу подобные вечера напоминали вырванный листок, живой благодаря доверенной ему игре мыслей, но, как все вырванное из связи, мумифицированный и полный той тирании навек застывшего, которая составляет жутковатую прелесть живых картин, где жизнь словно бы приняла вдруг снотворное да так и застыла в оцепенении, полная внутренней связи, резко очерченная и все-таки в целом ужасно бессмысленная.

---

<sup>2</sup> Герой одноименного исторического романа немецкого писателя И.-В. Шеффеля (1826–1866).

## 7. В состоянии слабости Ульрих приобретает новую возлюбленную

Однажды утром Ульрих явился домой в плачевном виде. Платье его было изодрано, расшибленную голову ему пришлось облепить примочками, часы и бумажник отсутствовали. Он не знал, взяли ли их те трое, с которыми он вступил в драку, или же они были украдены у него каким-нибудь тихим другом человечества за то короткое время, что он пролежал без сознания на мостовой. Он лег в постель и, когда его измученные члены снова почувствовали себя покойно расправленными и укрытыми, еще раз обдумал все происшествие.

Три эти головы очутились перед ним внезапно; он мог на пустынной в поздний час улице случайно задеть кого-то из них, ведь мысли его прыгали и были заняты чем-то другим, но эти лица были готовы к злобе и вошли в круг фонаря уже искаженными. Тут он сделал ошибку. Ему следовало сразу отпрянуть, словно испугавшись, и при этом крепко толкнуть спиной или локтем в живот парня, ставшего позади него, и в тот же миг постараться удрать, ибо с тремя сильными мужчинами сладить нельзя. Вместо этого он промедлил. Виною тому был возраст – его тридцать два года; вражда и любовь требуют теперь уже несколько больше времени. Он не поверил, что эти три лица, которые вдруг среди ночи взглянули на него с презрением и злобой, посягают только на его деньги, и отдался чувству, что тут слилась и воплотилась направленная на него ненависть; и в то время как хулиганы уже осыпали его площадной бранью, он радовался мысли, что это, может быть, вовсе не хулиганы, а такие же граждане, как он, только подвыпившие и освобожденные от скованности, в которой он, проходя мимо них, пребывал и которая разрядила на нем ненависть, всегда с готовностью поджидающую его и вообще всякого чужого человека, как гроза в атмосфере. Ведь нечто подобное чувствовал, бывало, и он. Невероятное множество людей чувствует ныне огорчительное противоречие между собой и невероятным множеством других людей. Это основная черта культуры – что человек испытывает глубочайшее недоверие к человеку, живущему вне его собственного круга, что, стало быть, не только германец еврея, но и футболист пианиста считает существом непонятным и неполноценным. Ведь, в конце концов, вещь сохраняется только благодаря своим границам и тем самым благодаря более или менее враждебному противодействию своему окружению; без папы не было бы Лютера, а без язычников – папы, поэтому нельзя не признать, что глубочайшая приверженность человека к сочеловеку состоит в стремлении отвергнуть его. Об этом он думал, конечно, не так подробно; но он знал это состояние неопределенной атмосферной враждебности, которым насыщен воздух в наш век, и когда оно вдруг сгущается в трех навсегда потом исчезающих незнакомцев, чтобы разразиться громом и молнией, то это чуть ли не облегчение.

Все-таки при виде трех хулиганов он раздумывал, пожалуй, несколько дольше, чем надо бы. Правда, первый, бросившись на него, отлетел назад, потому что Ульрих опередил его ударом в челюсть, но второго, с которым следовало разделаться затем в один миг, кулак едва задел, ибо удар сзади каким-то тяжелым предметом чуть не размозжил голову Ульриху. У него подкосились ноги, его схватили, он снова выпрямился с той почти неестественной легкостью тела, что обычно приходит за первым изнеможением, двинул несколько раз в путаницу чужих тел и был свален кулаками, которые делались все больше и больше.

Поскольку ошибка, допущенная им, была теперь выяснена и относилась только к спортивной области, словно какой-нибудь слишком короткий прыжок, Ульрих, все еще обладавший прекрасными нервами, спокойно уснул в точно таком же восторге от ускользающих витков забытья, какой он где-то в глубине души уже испытал при своем поражении.

Проснувшись, он убедился, что его ранения незначительны, и еще раз задумался о случившемся. Драка всегда оставляет неприятный осадок, привкус, так сказать, поспешной интимности, и, независимо от того, что нападал-то не он, у Ульриха было такое чувство, что

он вел себя неподобающим образом. Но не подобающим чему?! Совсем рядом с улицами, где через каждые триста шагов полицейский карает за малейшее нарушение порядка, находятся другие, требующие такой же силы и такого же склада ума, как дремучий лес. Человечество производит Библии и винтовки, туберкулез и туберкулин. Оно демократично, имея королей и дворянство; строит церкви и, с другой стороны, университеты против церквей, превращает монастыри в казармы, но в казармы направляет полковых священников. Естественно, что и хулиганам оно дает в руки наполненные свинцом резиновые шланги, чтобы изувечить тело сочеловека, а потом предоставляет этому одинокому и поруганному телу пуховики, как тот, что облекал сейчас Ульриха, наполненный как бы сплошной почтительностью и предупредительностью. Это известное дело – противоречия, непоследовательность и несовершенство жизни. По поводу их смеются или вздыхают. Но Ульрих-то был как раз не таков. Он терпеть не мог эту смесь покорности и слепой любви в отношении к жизни, мирящуюся с ее противоречиями и половинчатостью, как старая дева с неотесанностью молодого племянника. Только и с постели он тоже не стал вскакивать, когда выяснилось, что пребывать в ней значит извлекать выгоду из непорядка в делах человеческих, ибо в каком-то смысле это не что иное, как поспешная сделка с совестью за счет существа дела, самопоблажка, дезертирство в частную жизнь, когда ты лично избегаешь дурного и поступаешь хорошо, вместо того чтобы печься об общем порядке. После его недобровольного опыта Ульриху даже казалось, что если тут упразднят винтовки, а там королей и какой-нибудь большой или малый прогресс уменьшит глупость и зло, то в этом будет до отчаяния мало толку, ибо мера мерзостей и подлостей тотчас же восполнится новыми, словно одна нога мира всегда отскальзывает назад, как только другая выдвинется вперед. Причину и тайный механизм этого – вот что надо бы познать! Это было бы, конечно, несравненно важнее, чем быть добрым человеком по стареющим принципам, и поэтому в сфере морали Ульриха тянуло больше к службе в генеральном штабе, чем к повседневному героизму доброты.

Теперь он еще раз представил себе и продолжение своего ночного приключения. Когда он очнулся после неудачно прошедшей драки, у тротуара стоял наемный автомобиль, шофер которого пытался приподнять раненого незнакомца за плечи, и какая-то дама склонялась над ним с ангельским выражением лица. В такие моменты, когда сознание выплывает из бездны, все видишь как в мире детских книжек; но вскоре этот обморок уступил место действительности, присутствие хлопотавшей над ним дамы взбодрило и освежило Ульриха, как одеколон, так что он сразу понял, что пострадал не очень уж сильно, и попытался поизящнее встать на ноги. Это ему не сразу вполне удалось, и дама озабоченно предложила куда-нибудь отвезти его, чтобы ему оказали помощь. Ульрих попросил доставить его домой, и так как вид у него и правда был еще растерянный и беспомощный, дама согласилась это сделать. Потом он в машине быстро пришел в себя. Он чувствовал рядом с собой что-то матерински-чувствительное, нежное облако услужливого идеализма, облако, в тепле которого теперь, когда он снова становился мужчиной, начали складываться ледяные кристаллики сомнения и страха перед опрометчивым поступком, наполняя воздух мягкостью снегопада. Ульрих рассказал о своем приключении, и красивая женщина, которая была на вид лишь чуть-чуть моложе, чем он, то есть лет тридцати, посетовала на людскую грубость и нашла его донельзя заслуживающим жалости.

Конечно, он стал теперь энергично оправдывать случившееся и объяснять удивленной красавице, от которой на него веяло чем-то материнским, что о таких стычках нельзя судить по успеху. Прелесть их в том и заключена, что в кратчайший отрезок времени, с невиданной в обыденной жизни стремительностью и по едва уловимым сигналам нужно выполнить столько многообразных, мощных и все-таки точнее согласованных друг с другом движений, что контролировать их сознанием становится невозможно. Напротив, любой спортсмен знает, что уже за несколько дней до состязания нужно прекратить тренировку, а это делается не для чего

иного, как для того, чтобы мышцы и нервы могли заключить между собой последний договор без участия, а тем более без вмешательства воли, намерения и сознания. В момент действия всегда потом так и бывает, описывал Ульрих: мышцы и нервы, вырвавшись на свободу, сражаются с личностью; и она, то есть все тело, душа, воля, вся главная фигура, вся эта юридически отделяемая от окружающего ее мира целокупность, захвачена ими только поверхностно, как Европа, сидящая на быке, а если выходит иначе, если малейший луч размышления проникает, на грех, в эту темень, тогда, как правило, дело не выгорает... Ульрих вошел в раж. Это – утверждал он теперь, имея в виду феномен почти полного устранения сознательной личности или прорыва сквозь нее, – это в сущности сродни утраченным феноменам, которые были знакомы мистикам всех религий, а потому это в какой-то мере современный заменитель вечных потребностей, пусть скверный, но все-таки заменитель; и значит, бокс и подобные виды спорта, приводящие все это в рациональную систему, представляют собой своего рода теологию, хотя и нельзя требовать, чтобы это было признано всеми.

Ульрих так энергично обратился к своей спутнице, немного, наверно, и из тщеславного желания заставить ее забыть жалкое положение, в котором она нашла его. При этих обстоятельствах ей трудно было определить, говорит ли он всерьез, или острит. Во всяком случае, ей могло показаться вполне, в сущности, естественным, что он пытается объяснить теологию через спорт, это было, пожалуй, даже интересно, ведь спорт есть нечто современное, а теология, напротив, нечто такое, о чем решительно ничего не знаешь, хотя налицо все еще, нельзя отрицать, много церквей. Как бы то ни было, она нашла, что счастливая случайность позволила ей спасти блестящего человека. Правда, время от времени она спрашивала себя, не произошло ли у него сотрясение мозга.

Ульрих, пожелавший теперь изречь что-нибудь понятное, воспользовался случаем, чтобы указать попутно на то, что и любовь принадлежит к религиозным и опасным феноменам, поскольку она вырывает человека из объятий разума, лишает его почвы под ногами и повергает в состояние полной неопределенности.

Да, сказала дама, но спорт так груб.

Разумеется, поспешил признать Ульрих, спорт груб. Он, можно сказать, есть сгусток тончайше распределенной, всеобщей ненависти, который оттягивается в состязания. Утверждают, конечно, обратное: спорт, мол, объединяет людей, делает их товарищами и тому подобное; но, по сути, это только доказывает, что грубость и любовь отстоят друг от друга не дальше, чем одно крыло какой-нибудь большой пестрой немой птицы от другого.

Он сделал акцент на крыльях и на пестрой, немой птице, – мысль без настоящего смысла, но наполненная толикой той огромной чувственности, с какой жизнь одновременно удовлетворяет все соперничающие в ее необъятном теле противоречия; он заметил теперь, что его соседка этого совершенно не поняла, однако мягкий снегопад, который она распространяла в машине, стал еще гуще. Тут он совсем повернулся к ней и спросил, не противно ли ей говорить о таких телесных вопросах. Телесные дела и правда слишком уж входят в моду, и в сущности это ужасно, потому что тело, если оно хорошо натренировано, берет верх и так уверенно, без спросу, реагирует на любой раздражитель своими автоматизированными движениями, что у владельца остается только жутковатое чувство, что он ни при чем, и его характер как бы уходит от него в какую-нибудь часть тела.

Кажется, этот вопрос действительно глубоко задел молодую женщину; она обнаружила свою взволнованность сказанным, стала тяжелее дышать и осторожно отодвинулась. Механизм, подобный только что описанному, учащение дыхания, покраснение кожи, сердцебиение и, может быть, еще что-нибудь в ней, кажется, заработал. Но как раз тут автомобиль остановился перед домом Ульриха. Он успел лишь с улыбкой спросить адрес своей спасительницы, чтобы принести ей свою благодарность, но, к его удивлению, эта милость дарована ему не была. И черная кованая решетка захлопнулась за удивленным незнакомцем. Потом еще, возможно,

в свете электрических ламп выросли высокие и темные деревья старого сада, зажглись окна, и по коротко остриженному изумрудному газону раскинулись низкие крылья маленького, как будуар, замка, глазам приоткрылись увешанные картинами и уставленные пестрыми рядами книг стены, и попросившегося спутника принял в себя неожиданно прекрасный быт.

Так оно вышло, и, когда Ульрих еще размышлял, как было бы неприятно, если бы ему снова пришлось тратить время на одну из этих давным-давно надоевших интрижек, ему доложили о какой-то даме, которая не пожелала назвать себя и вошла к нему под низко опущенной вуалью. Это была она самая, не назвавшая своего имени и своего местожительства, но самовольно продолжившая приключение таким романтически-благотворительным способом под предлогом беспокойства о его состоянии.

Спустя две недели Бонадея была уже четырнадцать дней его возлюбленной.

## 8. Какания

В том возрасте, когда еще придают важность портняжным и цирюльным делам и любят глядеться в зеркало, часто представляют себе также какое-то место, где хочется провести жизнь, или по меньшей мере место, пребывание в котором импонирует, даже если чувствуешь, что тебя лично туда не очень-то тянет. Такой социальной навязчивой идеей давно уже стало подобие сверхамериканского города, где все спешат или стоят на месте с секундомером в руке. Воздух и земля образуют муравьиную постройку, пронизанную этажами транспортных магистралей. Надземные поезда, наземные поезда, подземные поезда, люди, пересылаемые, как почта, по трубам, цепи автомобилей мчатся горизонтально, скоростные лифты вертикально перекачивают человеческую массу с одного уровня движения на другой; в узловых точках люди перескакивают с одного средства передвижения на другое, всасываются и подхватываются, без раздумья, их ритмом, который между двумя разражающимися громом скоростями делает синкопу, паузу, маленькую пропасть в двадцать секунд, торопливо обмениваются несколькими словами в интервалах этого всеобщего ритма. Вопросы и ответы пригнаны друг к другу, как детали машин, у каждого человека есть строго определенные задачи, профессии собраны в группы по определенным местам, едят на ходу, развлечения собраны в других частях города, и опять же в каких-то других стоят башни, где находишь жену, семью, граммофон и душу. Напряженность и расслабленность, деятельность и любовь точно разграничены во времени и распределены после основательной лабораторной проверки. Столкнувшись в какой-либо деятельности с затруднением, дело просто бросаешь, ибо находишь другое дело или при случае лучший путь, или другой находит путь, с которого ты сбился; это совсем не беда, ведь ничто не транжирит столько общей энергии, сколько самоуверенная убежденность, будто ты призван не отступаться от какой-то определенной личной цели. В пронизанном силовыми линиями коллективе любой путь ведет к хорошей цели, если слишком долго не мешкать и не размышлять. Цели поставлены вкратке; но и жизнь коротка, от нее получаешь, стало быть, максимум достижимого, а больше человеку и не надо для счастья, ведь то, чего достигаешь, формирует душу, а то, чего хочешь, но не достигаешь, только искривляет ее; для счастья совершенно неважно то, чего ты хочешь, а важно только, чтобы ты этого достиг. Кроме того, зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое.

Нет никакой уверенности, что так оно и должно быть, но такие представления входят в дорожные сны, в которых отражается чувство безостановочного движения, нас захватившего. Они поверхностны, тревожны и коротки. Бог знает, что будет на самом деле. Можно подумать, что мы каждую минуту держим начало в своих руках и должны составлять план для всех нас. Не нравится нам эта штука со скоростями – так затеем другую. Например, что-нибудь совсем медленное, с колышущимся, как покрывало, таинственным, как моллюск, счастьем и с глубоким коровьим взором, о котором мечтали уже греки. Но дело обстоит вовсе не так. Штука эта держит нас в своих руках. Едешь в ней днем и ночью, да еще делаешь при этом всякую всячину – брешься, ешь, любишь, читаешь книжки, выполняешь свои профессиональные обязанности, как если бы четыре стены стояли на месте, и страшновато тут только, что стены едут, а ты этого не замечаешь, и выбрасывают вперед свои рельсы, как длинные, изгибающиеся щупальца, а ты не знаешь – куда. А кроме того, хочется ведь еще, по возможности, самому принадлежать к силам, которые направляют поезд времени. Это очень неясная роль, и случается, что, выглянув после долгого перерыва наружу, видишь: пейзаж изменился; что пролетает мимо, то пролетает, ибо иначе не может быть, но при всей твоей покорности все большую власть приобретет чувство, будто ты проскочил мимо цели или попал не на ту линию. И в один прекрасный день возникает неистовая потребность: сойти, спрыгнуть! Ностальгическое желание быть задержанным, не развиваться, застрять, вернуться к точке, лежащей перед

не тем ответвлением! И в старое доброе время, когда еще существовала на свете Австрийская империя, можно было в этом случае покинуть поезд времени, сесть в обыкновенный поезд обыкновенной железной дороги и вернуться домой.

Там, в Какании, этом уже исчезнувшем, непонятном государстве, которое в столь многих отношениях было, хотя это и не признано, образцовым, тоже существовал темп, но темп не слишком большой. Стоило на чужбине подумать об этой стране, как перед глазами вставало воспоминание о белых, широких, благополучных дорогах времен пеших походов и нарочных, дорогах, тянувшихся по ней во всех направлениях, как реки порядка, как полосы светлого солдатского тика, и обнимавших земли бумажно-белой рукой управления. И какие земли! Были там ледники и море, Карст и чешские нивы, ночи на Адриатике в неугомонном звоне цикад, и словацкие деревни, где дым выходил из труб, как из вывернутых ноздрей, а деревня лепилась между двумя холмиками, словно земля приоткрыла губы, чтобы согреть между ними свое дитя. Конечно, по этим дорогам катились и автомобили, но не слишком много автомобилей! Готовились к покорению воздуха, здесь тоже, но не слишком интенсивно. Время от времени отправляли судно в Южную Америку или Восточную Азию, но не слишком часто. Не было честолюбия мировой экономики и мирового господства. Находились в середине Европы, где пересекаются старые оси мира; слова «колония» и «заморские земли» отдавали чем-то еще совершенно не изведанным и далеким. Знали роскошь, но, боже упаси, не такую сверхтонченную, как французы. Занимались спортом, но не так сумасбродно, как англосаксы. Трагично невероятные суммы на войско, но как раз лишь столько, чтобы прочно оставаться второй по слабости среди великих держав. Главный город тоже был несколько меньше, чем все другие крупнейшие города мира, но все-таки значительно больше, чем просто большие города. И управлялась эта страна просвещенным, малоощутимым, осторожно срезавшим острые углы способом, управлялась лучшей в Европе бюрократией, которую можно было упрекнуть только за одну ошибку: гениальность и гениальную предприимчивость частных лиц, не привилегированных на то родовитостью или государственным заданием, она воспринимала как нескромность и наглость. Но кому охота, чтобы ему указывали неправомочные! А к тому же в Какании только гения всегда считали болваном, но болвана гением, как то случалось в других местах, никогда не считали.

Вообще сколько поразительных вещей можно рассказать об этой исчезнувшей Какании! Она была, например, Кайзерско-Королевской и Кайзерской и Королевской; одну из этих двух помет «к. к.» или «к. и к.» носили там каждая вещь и каждое лицо, но все-таки требовалось тайное знание, чтобы безошибочно различать, какие установления и какие люди должны называться «к. к.», а какие «к. и к.». Письменно она именовалась Австрийско-Венгерской монархией, а в устной речи позволяла называть себя Австрией – именем, стало быть, которое она сняла с себя торжественной государственной присягой, но сохраняла во всех эмоциональных делах в знак того, что эмоции столь же важны, как государственное право, а предписания не выражают истинную серьезность жизни. Она была по своей конституции либеральна, но управлялась клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии. Перед законом все граждане были равны, но гражданами-то были не все. Имелся парламент, который так широко пользовался своей свободой, что его обычно держали закрытым; но имелась и статья о чрезвычайном положении, с помощью которой обходились без парламента, и каждый раз, когда все уже радовались абсолютизму, следовало высочайшее указание вернуться к парламентарному правлению. Таких случаев было много в этом государстве, и к ним относились также национальные распри, что по праву вызывали любопытство Европы и освещаются сегодня совершенно неверно. Они были настолько ожесточены, что из-за них по многу раз в году стопорилась и останавливалась государственная машина, но в промежутках и паузах государственности царил полное взаимопонимание и делался вид, будто ничего не произошло. Да по-настоящему и не происходило ничего. Просто та неприязнь каждого к стремлениям

каждого другого, в которой мы все сегодня едины, в этом государстве сформировалась рано и стала, можно сказать, сублимированным церемониалом, который еще имел бы, пожалуй, большие последствия, если бы его развитие не было до срока прервано катастрофой.

Ибо не только неприязнь к согражданину была возведена там в чувство солидарности, но и недоверие к собственной личности и ее судьбе приняло характер глубокой самоуверенности. В этой стране поступали – доходя порой до высших степеней страсти и ее последствий – всегда иначе, чем думали, или думали иначе, чем поступали. Несведущие наблюдатели принимали это за мягкость или даже за слабость австрийского, по их мнению, характера. Но это было неверно, и всегда неверно объяснять происходящее в какой-либо стране просто характером ее жителей. Ведь у жителя страны по меньшей мере девять характеров – профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, частный; он соединяет их в себе, но они растворяют его, и он есть, по сути, не что иное, как размытая этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадываются и откуда текут дальше, чтобы наполнить с другими ручьями другую ямку. Поэтому у каждого жителя земли есть еще и десятый характер, и характер этот – не что иное, как пассивная фантазия незаполненных пространств; он разрешает человеку все, кроме одного – принимать всерьез то, что делают его по меньшей мере девять других характеров и что с ними происходит; иными словами, значит, как раз то, что должно было бы заполнить его. Это, нельзя не признать, трудноописуемое пространство окрашено и сформировано в Италии иначе, чем в Англии, поскольку то, что отделено от него, имеет иные окраску и форму, и все же оно там и здесь представляет собой одно и то же – пустое, невидимое пространство, внутри которого действительность походит на покинутый фантазией игрушечный, из кубиков, город.

Насколько такое вообще может стать очевидным, оно стало очевидным в Какании, и в этом Какания, хотя мир не знал о том, была самым передовым государством; это было государство, которое только как-то мирилось с самим собой, в нем ты был негативно свободен, постоянно испытывал чувство недостаточности причин для собственного существования, и великая фантазия неслучившегося, или случившегося не раз навсегда, омывала тебя, как дыхание океанов, из которых вышло человечество.

«Так уж получилось», – говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли. Да, несмотря на многое, что говорит об обратном, Какания, может быть, все-таки была страной для гениев; и наверно, потому она и погибла.

## 9. Первая из трех попыток стать выдающимся человеком

Этот вернувшийся домой скиталец не помнил такой поры своей жизни, которая бы не была проникнута желанием стать выдающимся человеком: с этой потребностью Ульрих, казалось, родился. Верно, что такая жажда может свидетельствовать и о тщеславии и глупости; но не менее верно, что это прекрасное и правильное стремление, без которого на свете было бы, вероятно, не так много выдающихся людей.

Беда состояла лишь в том, что Ульрих не знал, как им становятся и что это такое – выдающийся человек. В школьные годы он считал таковым Наполеона; объяснялось это отчасти естественной для юнца готовностью восхищаться преступлением, отчасти тем, что учителя ясно указывали на этого тирана, пытавшегося поставить Европу на голову, как на величайшего злодея истории. В результате, разделившись со школой, Ульрих стал прапорщиком в кавалерийском полку. Вероятно, если бы его тогда спросили, почему он выбрал эту профессию, он уже не ответил бы: «чтобы стать тираном», но такие желания – иезуиты; гений Наполеона начал развиваться лишь после того, как он стал генералом, а как мог Ульрих, будучи прапорщиком, убедить своего полковника в необходимости этого условия?! Уже во время эскадронных занятий нередко обнаруживалось, что полковник был другого мнения, чем он. Тем не менее Ульрих не проклял бы учебного плаца, на мирном поле которого нельзя было отличить самонадеянность от призвания, если бы не был так честолюбив. Пацифистским разговорам насчет «милитаристского воспитания народа» он не придавал тогда ни малейшего значения, а был полон страстной памяти о героике барства, насилия и гонора. Он участвовал в скачках, дрался на дуэлях и различал только три вида людей – офицеров, женщин и штатских; последние представляли собой физически неразвитый, презренный по своим умственным способностям класс, у которого офицеры уводили жен и дочерей. Он предавался великолепному пессимизму; ему казалось, что раз ремесло солдата есть некое острое и раскаленное орудие, то этим орудием надо жечь и резать мир ему же на благо.

Хотя с ним, на его счастье, при этом никакой беды не стряслось, однажды он все-таки сделал некое открытие. В одной компании у него вышло с одним знакомым финансистом маленькое недоразумение, которое он хотел уладить с обычным блеском, но оказалось, что и среди штатских есть мужчины, умеющие постоять за женскую часть своей семьи. Финансист переговорил с военным министром, с которым был знаком лично, и в результате Ульрих имел долгую беседу со своим полковником, в которой ему, Ульриху, была разъяснена разница между эрцгерцогом и простым офицером. С тех пор его больше не радовало ремесло воина. Он ожидал, что взойдет на арену потрясающих мир приключений, и вдруг увидел, как на широкой пустой площади буянит пьяный молодой человек, которому отвечают одни лишь камни. Поняв это, он простился с неблагодарным поприщем, где только что достиг чина поручика, и бросил службу.

## 10. Вторая попытка. Предпосылки морали человека без свойств

Но Ульрих переменял только коня, перейдя от кавалерии к технике; у нового коня были стальные члены, и бежал он вдесятеро резвее.

В мире Гёте стук ткацких станков был еще помехой, в эпоху Ульриха уже начали открывать музыку машинных залов, заклепочных молотков и фабричных гудков. Не надо, впрочем, думать, будто люди вскоре заметили, что небоскреб выше, чем человек на коне; напротив, еще и сегодня, желая изобразить из себя что-то особенное, они садятся не на небоскреб, а на высокого коня, они быстры как ветер и зорки не как гигантский рефрактор, а как орел. Их чувство еще не научилось пользоваться услугами их разума, и разница в развитии между этими двумя почти так же велика, как между слепой кишкой и корой головного мозга. Значит, это не такое уж малое счастье, если ты догадываешься, как то довелось Ульриху уже на исходе отрочества, что поведение человека во всех высших, на его взгляд, вопросах гораздо старомоднее, чем его машины.

Ульриха залихорадило, едва он вошел в учебные залы механики. Зачем нужен еще Аполлон Бельведерский, если у тебя перед глазами новые формы турбогенератора или игра суставов распределительного устройства паровой машины! Кому интересны тысячелетние словопрения о том, что хорошо и что плохо, если оказывается, что это никакие не «константы», а «функциональные значения» и добротность сделанного зависит от исторических обстоятельств, а добротность людей – от психотехнической сноровки в использовании их свойств! Мир просто смешон, если смотреть на него с технической точки зрения, – непрактичен во всех человеческих взаимоотношениях, в высшей степени неэкономичен и неточен в своих методах; и кто привык улаживать свои дела счетной линейкой, тот просто не может принимать всерьез добрую половину всех людских утверждений. Счетная линейка – это две неслышанно остроумно сплетенные системы чисел и делений; счетная линейка – это две белые, лакированные, скользящие одна в другой планочки трапециевидного сечения, с помощью которых можно мгновенно решать сложнейшие задачи, не тратя ни одной мысли без пользы; счетная линейка – это маленький символ, который носишь в нагрудном кармане и чувствуешь над сердцем твердым белым штыком акцентного знака; если у тебя есть счетная линейка, а кто-то приходит с громкими словами или с великими чувствами, ты говоришь: минуточку, вычислим сначала пределы погрешности и вероятную стоимость всего этого!

Это была, несомненно, мощная концепция инженерного дела. Оно, это представление, составляло рамку привлекательного будущего автопортрета, изображающего мужчину с решительными чертами, с набитой шеей<sup>3</sup> трубкой в зубах, в кепи и превосходных сапогах для верховой езды, который находится в пути между Кейптауном и Канадой, чтобы для своей фирмы претворять в действительность внушительные проекты. При этом всегда можно выкроить время и при нужде добыть у своего технического мышления какой-нибудь совет насчет устройства мира и управления им или какое-нибудь изречение вроде эмерсоновского, которое не мешало бы вывесить над каждой мастерской: «Люди живут на земле как предвестники будущего, и все их дела – это попытки и поиски, ибо любое дело может быть превзойдено следующим!» По правде говоря, эта фраза принадлежала самому Ульриху и была составлена из нескольких эмерсоновских фраз.

Трудно сказать, почему инженеры не совсем таковы, как то соответствовало бы этому афоризму. Почему они, например, так часто носят часы на цепочке, которая тянется из жилет-

---

<sup>3</sup> Сорт курительного табака.

ного кармана к одной из верхних пуговиц кривобокой крутой дугой, или же эта цепочка образует у них на животе один подъем и два спуска, словно она находится в стихотворении? Почему им нравится втыкать в свои галстуки булавки с оленьими зубами или подковками? Почему их костюмы сконструированы так же, как первые образцы автомобиля? Почему, наконец, они редко говорят о чем-либо другом, кроме своей профессии; а если и говорят, то почему делают это в какой-то особой, натянутой, расплывчатой, формальной манере, которая проникает внутрь не глубже, чем до надгортанника? Конечно, это относится далеко не ко всем, но ко многим относится, и те, с кем Ульрих познакомился, когда впервые поступил на службу в фабричную администрацию, были таковы, и те, с кем он познакомился при втором поступлении, тоже были таковы. Они производили впечатление людей, крепко связанных со своими чертежными досками, любящих свое дело и обладающих замечательной способностью к нему; но предложение применить смелость их мыслей не к их машинам, а к ним самим они восприняли бы так же, как требование воспользоваться молотком с протivoестественной целью убийства.

Поэтому так быстро кончилась и вторая, более зрелая попытка, которую Ульрих принял, чтобы стать необыкновенным человеком на стезе техники.

## 11. Самая важная попытка

По поводу всего предшествовавшего Ульрих сегодня только покачал бы головой, как если бы ему стали рассказывать о переселении его души; но не по поводу третьей своей попытки. Нетрудно понять, что инженер с головой уходит в свою профессию, вместо того чтобы выйти на вольный простор мира идей, хотя его машины и поставляются на самый край света, ибо ему так же не нужна способность переносить смелость и новизну души своей техники на свою личную душу, как не в силах машина применить к себе самой лежащее в ее основе исчисление бесконечно малых. Относительно же математики сказать этого нельзя; здесь перед нами сама новая логика, сам дух в чистом виде, здесь источники времени и начало необозримых трансформаций.

Если это и есть осуществление извечных мечтаний – летать по воздуху и плавать с рыбами, пробиваться сквозь толщи исполинских гор, посылать вести с божественными скоростями, видеть и слышать невидимое и далекое, слышать, как говорят мертвые, погружаться в чудодейственный целебный сон, видеть живыми глазами, как будешь выглядеть через двадцать лет после своей смерти, знать среди мерцающей ночи о тысяче находящихся над и под этим миром вещей, прежде неведомых, если свет, тепло, сила, наслаждение, комфорт – извечные мечты человечества, – то сегодняшние изыскания – это не только наука, а волшебство, а торжественный обряд, предполагающий величайшую силу сердца и мозга, перед которой Бог открывает одну складку своего плаща за другой, религия, догмы которой пронизывает и поддерживает суровая, мужественная, гибкая, холодная и острая как нож логика математики.

Правда, нельзя отрицать, что, по мнению не-математиков, все эти извечные мечты осуществились вдруг совершенно иначе, чем то представлялось первоначально. Почтовый рожок Мюнхгаузена был прекраснее, чем законсервированный фабричным способом голос, семи-мильные сапоги – прекрасней автомобиля, царство Лаурина<sup>4</sup> – прекраснее, чем железнодорожный туннель, волшебный корень прекраснее фототелеграммы, вкусить от сердца собственной матери и понимать птиц прекраснее, чем зоопсихологическое исследование об экспрессивных модуляциях птичьего голоса. Обретена реальность и утрачена мечта. Уже люди не лежат под деревом, разглядывая небо в просвет между большим и вторым пальцами ноги, а творят; и нельзя быть голодным и рассеянным, если хочешь чего-то добиться, а надо съесть бифштекс и пошевелиться. Дело обстоит в точности так, словно старое бездеятельное человечество уснуло на муравейнике, а новое проснулось уже с зудом в руках и с тех пор вынуждено двигаться изо всех сил без возможности стряхнуть с себя это противное чувство животного прилежания. Незачем, в самом деле, много об этом говорить, большинству людей сегодня и так ясно, что математика, как демон, вошла во все области нашей жизни. Может быть, не все эти люди верят в историю о черте, которому можно продать свою душу; но все люди, которые, наверно, что-то понимают в душе, коль скоро они, будучи священниками, историками и художниками, извлекают из этого неплохие доходы, свидетельствуют, что она разрушена математикой и что математика есть источник некоего злого разума, хотя и превращающего человека во властелина земли, но делающего его рабом машины. Внутренняя пустота, чудовищная смесь пронизательности в частностях и равнодушия в целом, невероятное одиночество человека в пустыне мелочей, его беспокойство, злость, беспримерная бессердечность, корыстолюбие, холод и жестокость, характерные для нашего времени, представляют собой, по этим свидетельствам, лишь следствие потерь, наносимых душе логически острым мышлением! Так вот и тогда уже, когда Ульрих стал математиком, были люди, предсказывавшие гибель европейской культуры из-за того, что в человеке нет больше веры, любви, простоты, доброты, и примечательно, что все они

---

<sup>4</sup> Повелитель карликов, герой немецкого средневекового эпоса «Розовый сад Лаурина».

в свои юные и школьные годы были скверными математиками. Это позднее служило им доказательством того, что математика, мать точного естествознания, бабушка техники, является и праматерью того духа, из которого в конце концов возникли ядовитые газы и военные летчики.

В неведении относительно этих опасностей жили, собственно, лишь сами математики и их ученики, естествоиспытатели, ощущавшие все это душой столь же мало, как гонщики-велосипедисты, усердно нажимающие на педали и ничего на свете не замечающие, кроме заднего колеса того, кто сейчас перед ними. Об Ульрихе же, напротив, можно было с уверенностью сказать, что он любил математику из-за людей, которые ее терпеть не могли. Он был не столько научно, сколько по-человечески влюблен в эту науку. Он видел, что по всем вопросам, в каких она считает себя компетентной, она думает иначе, чем обыкновенные люди. Если бы можно было заменить научные взгляды мировоззрением, гипотезу – экспериментом, а истину – действием, то труд жизни любого крупного естествоиспытателя или математика превосходил бы по мужеству и разрушительной силе величайшие деяния истории. Не появился еще на свете человек, который мог бы сказать верящим в него: крадите, убивайте, распутничайте – наше учение настолько сильно, что оно превратит навозную жижу ваших грехов в белопенный горный ручей; а в науке каждые несколько лет бывает так, что что-то, считавшееся дотоле ошибкой, внезапно переворачивает все прежние представления или что какая-нибудь невзрачная и презренная мысль становится владычицей нового царства идей, и такие случаи там – это не просто перевороты, нет, они, как лестница Иакова, ведут в вышину. В науке все происходит так же ярко, так же беспечно и великолепно, как в сказке. И Ульрих чувствовал: люди просто не знают этого; они понятия не имеют, как уже можно думать; если бы можно было научить их думать по-новому, они бы и жили иначе.

Возникает, правда, вопрос: так ли уж все неправильно в мире, что его нужно то и дело переворачивать? Но на это мир давно сам дал два ответа. Ведь с тех пор, как он существует, большинство людей были в юности за то, чтобы его перевернуть. Они находили смешным, что старшие привязаны к существующему и думают сердцем, куском мяса, вместо того чтобы думать мозгом. Эти молодые всегда замечали, что моральная тупость старших есть в такой же мере неспособность к новым связям, как обыкновенная интеллектуальная тупость, и естественная для них самих мораль была моралью продуктивности, героизма и перемен. Однако, придя в возраст свершений, они больше уже не вспоминали об этом, да и вспоминать не желали. Вот почему многие, для кого математика или естествознание означает профессию, сочтут это наглостью, если кто-нибудь займется наукой по таким причинам, как Ульрих.

И все же на этом третьем поприще он, по мнению специалистов, сделал совсем не так мало, с тех пор как несколько лет назад вступил на него.

## 12. Дама, чьей любви Ульрих добился после одного разговора о спорте и мистике

Оказалось, что и Бонадея стремится к великим идеям.

Бонадея была та дама, что спасла Ульриха в ночь его неудачного бокса и навестила на следующее утро под низко опущенной вуалью. Он окрестил ее Бонадеей, Благой богиней, потому что таковой вошла она в его жизнь, и еще в честь богини непорочности, обладавшей в Древнем Риме храмом, который путем странного переосмысления пал средоточием всяческого разврата. Она этого не знала. Звучное имя, данное ей Ульрихом, нравилось ей, и она носила его во время своих визитов, как роскошно вышитый пеньюар.

– Я, значит, твоя Благая богиня? – спрашивала она. – Твоя *Bona dea*? – И верное произношение двух этих слов требовало, чтобы она при этом обвивала руками его шею и прочувствованно глядела на него со слегка запрокинутой головой.

Она была супругой уважаемого человека и нежной матерью двух красивых мальчиков. Любимое ее понятие было «глубоко порядочный»; она применяла его к людям, слугам, делам и чувствам, если хотела сказать о них что-нибудь хорошее. Она способна была произносить слова «истинное, доброе и прекрасное» так же часто и естественно, как другой говорит «четверг». Полнее всего удовлетворяло ее потребность в идеях представление о тихом, идеальном житье-бытье в кругу, который образуют супруг и дети, в то время как где-то далеко внизу маячит темное царство по имени «не введи меня во искушение», пригашивая своим мраком сияющее счастье и заставляя его светиться мягко, как лампа. У нее был лишь один недостаток – что от одного только вида мужчин она возбуждалась в совершенно необычайной мере. Она вовсе не была сладострастна; она была чувственна, как другие люди страдают чем-нибудь другим, например, потливостью рук или тем, что легко меняют свои убеждения, это было как бы врожденной ее чертой, и она не могла ничего с ней поделать. Познакомившись с Ульрихом при таких романтических, чрезвычайно волнующих воображение обстоятельствах, она с первой же минуты была обречена стать жертвой страсти, которая началась как сочувствие, перешла после короткой, но жестокой борьбы в запретные потаенности и продолжалась как чередование укусов греха и укусов раскаяния.

Но Ульрих был в ее жизни бог весть которым по счету случаем. С такими страдающими любовным бешенством женщинами мужчины, разобравшись, что к чему, обращаются чаще всего не многим лучше, чем с идиотами, которых можно глупейшими средствами заставлять спотыкаться снова и снова на том же месте. Ведь самозабвенно-нежные чувства мужчины напоминают рычание ягуара над куском мяса, и упаси боже тут помешать... Вследствие этого Бонадея часто вела двойную жизнь, словно какой-нибудь вполне почтенный в повседневном быту гражданин, который в темных закоулках своего сознания ведет жизнь железнодорожного вора, и, когда ее никто не держал в объятиях, эту тихую, статную женщину угнетало презрение к себе, вызванное ложью и бесчестьем, на которые она шла, чтобы ее держали в объятиях. Когда ее чувственность была возбуждена, Бонадея была грустна и добра, более того, в этой своей смеси восторга и слез, грубой естественности и неизбежного раскаяния, во вспышках ее мании перед уже грозящей депрессией она приобретала особую прелесть, волнующую, как непрерывная дробь приглушенного барабана. Но в интервале между приступами, и раскаяние между двумя состояниями слабости, заставлявшем ее чувствовать свою беспомощность, она была полна достопочтенных претензий, делавших обхождение с ней непростым. Надо было быть искренним и добрым, сочувствовать всякой беде, любить императорский дом, почитать все почитаемое и вести себя в нравственном отношении так же деликатно, как у постели больного.

Если так не получалось, это тоже ничего не меняло в ходе вещей. В оправдание себе она придумала сказку, что в свое прискорбное состояние была приведена супругом в невинные

первые годы их брака. Этот супруг, который был гораздо старше и физически крупнее, чем она, предстал тут каким-то беспардонным чудовищем, и в первые же часы своей новой любви она рассказала об этом и Ульриху с печальной многозначительностью. Лишь позднее он узнал, что человек этот был известным и авторитетным юристом, очень способным в своем деле, к тому же безобидным убийцей – любителем охоты и желанным гостем всяких застолий, где собирались охотники и законники и где говорили о мужских проблемах, а не об искусстве и о любви. Единственная оплошность этого простоватого, добродушного и жизнерадостного человека состояла в том, что он был женат на своей супруге и потому чаще, чем другие мужчины, находился с ней в тех отношениях, которые на судейском языке называют случайной связью. Под психологическим воздействием многолетней покорности человеку, чьей женой она стала больше по расчету, чем по влечению сердца, у Бонадеи сложилась иллюзия своей физической сверхвозбудимости, и эта фантазия сделалась почти независимой от ее сознания. Непонятная ей самой внутренняя необходимость приковывала ее к этому баловню обстоятельств; она презирала его за слабость собственной воли и чувствовала себя слабой, чтобы иметь возможность его презирать; она обманывала его, чтобы убежать от него, но при этом в самые неподходящие моменты говорила о нем или о детях, которые были у нее от него, и никогда не была в состоянии освободиться от него целиком. Как многие несчастные женщины, опору на довольно зыбкой иначе почве она обрела в неприязни к своему прочно наличествующему супругу и конфликт с ним переносила на каждое новое приключение, которое должно было освободить ее от него.

Чтобы утихомирить ее жалобы, не оставалось ничего другого, как поскорее перевести ее из состояния депрессии в состояние мании. Тогда она отказывала тому, кто так поступал и злоупотреблял ее слабостью, в каком бы то ни было благородстве помыслов, но ее страдание обволакивало ей глаза пеленой влажной нежности, когда она, как она это с научной объективностью выражала, «склонялась» к этому человеку.

### **13. Гениальная скаковая лошадь способствует созреванию убеждения, что ты – человек без свойств**

Весьма важно, что Ульрих был вправе сказать себе, что в своей науке он сделал немало. Его работы принесли ему, правда, и признание. Требовать восторгов было бы чересчур, ибо даже в империи истины восторг испытывают только перед пожилыми учеными, от которых зависит, получишь ли ты доцентуру или профессию. Если говорить точно, он остался тем, кого называют надеждой, а надеждами в республике умов называют республиканцев, это те люди, которые воображают, что всю свою силу можно посвятить делу, вместо того чтобы расходовать изрядную ее часть на внешнее продвижение; они забывают, что продуктивность одиночки невелика, а продвижение – это всеобщее желание, и пренебрегают социальным долгом карьеризма, обязывающим начинать как карьерист, чтобы в годы успеха стать подпоркой и ступенькой, с помощью которой выбьется в люди кто-то другой.

И вот однажды Ульрих перестал хотеть быть надеждой. Тогда уже наступило время, когда начали говорить о гениях футбольного поля или площадки для бокса, но на минимум десять гениальных изобретателей, теноров или писателей в газетных отчетах приходилось еще никак не больше, чем один гениальный центр защиты или один великий тактик теннисного спорта. Новый дух чувствовал себя еще не совсем уверенно. Но как раз тогда Ульрих вдруг где-то вычитал – и как бы до поры повеяло зрелостью лета – выражение «гениальная скаковая лошадь». Оно встретилось в репортаже об одном сенсационном успехе на ипподроме, и автор, может быть, совершенно не сознавал всего величия мысли, подброшенной духом коллективизма его перу. Ульрих же вдруг понял, в какой неизбежной связи находится вся его карьера с этим гением скаковых лошадей. Ведь лошадь была искони священным животным кавалерии, и в своей казарменной юности Ульрих только и слышал о лошадях да о женщинах, и от этого-то он и удрал, чтобы стать выдающимся человеком, и вот, когда он после разнообразных усилий мог бы уж, пожалуй, почувствовать близость вершины своих устремлений, его оттуда приветствовала опередившая его лошадь.

Это, конечно, оправдано исторически, ибо совсем не так давно достойный восхищения дух мужественности представляли себе существом, чья смелость была нравственной смелостью, чья сила – силой убежденности, чья твердость – твердостью сердца и добродетели, существом, которое быстроту считало мальчишеством, уловки – чем-то недозволенным, юркость и резвость – чем-то не вяжущимся с достоинством. Под конец, правда, это существо встречалось уже не в живом виде, а лишь на педагогических советах гимназий и во всякого рода письменных высказываниях, оно превратилось в идеологический призрак, и жизнь должна была искать себе новый образ мужественности. Поискав его, она, однако, сделала открытие, что уловки и хитрости, применяемые находчивым умом при логическом расчете, на самом деле не очень отличаются от бойцовских уловок жестоко вытравленного тела и что существует всеобщая бойцовская душевная сила, которую трудное и невероятное делает холодной и умной независимо от того, привыкла ли она угадывать открытую для атаки сторону задачи или физического противника. Если подвергнуть психотехническому анализу гиганта мысли и чемпиона страны по боксу, то, вероятно, и правда их хитрость, их смелость, их точность, их комбинаторика, а также быстрота их реакций в области для них важной окажутся одинаковыми, и возможно даже, что в доблестях и способностях, определяющих их особый успех, ими не будут отличаться от какого-нибудь знаменитого скакуна, ибо нельзя не учитывать того, сколько замечательных свойств пускается в ход, когда надо взять барьер. А к тому же у лошади и у чемпиона по боксу есть перед гигантом мысли то преимущество, что их достижения и значение можно безупречно измерить, и лучших из них действительно признают лучшими, и, стало быть, спорт

и объективность по праву вытесняют устаревшие представления о гении и человеческом величии.

Что касается Ульриха, то нужно даже сказать, что в этом вопросе он был на несколько лет впереди своего времени. Ведь наукой он занимался как раз по этому принципу улучшения рекорда на одну победу, на один сантиметр или на один килограмм. Его ум должен был доказать свою остроту и силу и выполнял работу силачей. Это наслаждение мощью ума было ожиданием, воинственной игрой, каким-то неопределенным, но властным притязанием на будущее. Ему было неясно, что он совершит с этой мощью; с ней можно было сделать все и ничего не сделать, стать спасителем мира или преступником. Да такова, наверно, и вообще психологическая ситуация, благодаря существованию которой снова и снова пополняется мир машин и открытий. Ульрих смотрел на науку как на подготовку, закалку и вид тренировки. Если вышло, что такое мышление слишком сухо, резко и узко, что оно не дает перспективы, то с этим приходилось так же мириться, как с отпечатком лишений и напряжения, который накладывают на лицо большие физические и волевые усилия. Он годами любил духовную несытость. Он ненавидел людей, неспособных, говоря словами Ницше, «терпеть ради истины душевный голод»; тех идущих на попятный, малодушных, изнеженных, которые тешат свою душу болтовней о душе и пичкают ее, поскольку разум якобы дает ей камни вместо хлеба, религиозными, философскими и выдуманнами чувствами, похожими на размоченные в молоке булочки. Он держался мнения, что в этом столетии все человеческое пребывает на марше, что гордость требует противопоставить всем бесполезным вопросам девиз «еще нет» и жить по временным принципам, но в сознании цели, которой достигнут потомки. Правда состоит в том, что наука выработала понятие суровой, трезвой силы, делающее просто невыносимыми старые метафизические и моральные представления рода человеческого, хотя заменить их оно может только надеждой, что настанет далекий день, когда раса интеллектуальных завоевателей спустится в доли душевной плодovitости.

Но это удастся лишь до тех пор, пока ты не вынужден оторвать взгляд от пророческой дали и направить его на теперешнее, близкое, прочитав, что некая скаковая лошадь стала тем временем гениальной. На следующее утро Ульрих встал с левой ноги и нерешительно зашарил правой в поисках домашней туфли. Это произошло не в том городе и не на той улице, где он жил сейчас, но всего несколько недель назад. По бурому асфальту под его окном уже сновали автомобили; чистота утреннего воздуха стала наполняться кислородом дня, и ему показалось невыразимо нелепым наклонять сейчас, в пробивавшемся сквозь занавески молочном свете, свое голое тело вперед и назад, поднимать его с пола и опускать на пол брюшными мышцами и наконец колотить кулаками по груше для бокса, как то делают в этот же час столько людей перед уходом на службу. Час в день – это одна двенадцатая сознательной жизни, и его достаточно, чтобы держать тренированное тело в состоянии пантеры, готовой к любому приключению; но он тратится на бессмысленное ожидание, ибо никогда не случаются приключения, достойные такой подготовки. Совершенно так же обстоит дело с любовью, к которой человек готовится с невероятным размахом, и наконец Ульрих понял, что и в науке он походил на путника, одолевавшего без цели перед глазами один горный хребет за другим. Он обладал какими-то дольками нового способа думать и чувствовать, но столь сильная поначалу картина нового распалась на все более многочисленные частности, и если раньше он верил, что пьет из источника жизни, то теперь выпил почти все свои ожидания. Тут он и прекратил на середине большую и многообещающую работу. Его коллеги показались ему не то беспощадными прокурорами и главными жандармами логики, не то курильщиками опиума и пожирателями какого-то странно бесцветного снадобья, от которого мир наполнялся для них видениями чисел и беспредметными связями. «Бог ты мой, – подумал он, – ведь я же не собирался быть математиком всю свою жизнь?!»

Но что, собственно, он собирался делать? В этот момент он мог бы обратиться разве что к философии. Но в состоянии, в каком она тогда находилась, философия напоминала ему ту историю с Дидоной, где разрезается на ремни бычья шкура, только оставалось очень сомнительно, что ими действительно охватишь царство; а что прибавлялось нового, было похоже на то, чем он сам занимался, и никак не соблазняло его. Он мог только сказать, что чувствовал себя более далеким, чем в юности, от того, чем, собственно, хотел стать, если это вообще не осталось ему совершенно неизвестным. С удивительной ясностью видел он в себе все, кроме умения зарабатывать деньги, в котором он не нуждался, поощряемые его временем способности и свойства, но возможность их применения он потерял; и если уж футболисты и лошади обладают гением, то, значит, пустить его в ход – это в конце концов единственное, что остается, чтобы спасти свою самобытность, а потому он решил взять на год отпуск от своей жизни и поискать подходящего применения своим способностям.

## 14. Дружья юности

После возвращения Ульрих успел уже несколько раз побывать у своих друзей Вальтера и Клариссы, ибо они, несмотря на летнее время, никуда не уехали, а он много лет их не видел. Всякий раз, когда он являлся, они играли на рояле. Они находили само собой разумеющимся не замечать его в такую минуту, пока не закончат пьесу. На сей раз это была ликующая бетховенская песнь радости; миллионы, как то описывает Ницше, благоговейно падали в прах, ломались барьеры вражды, разделенных мирило, соединяло евангелие мировой гармонии; разучившись ходить и говорить, оба готовы были, танцуя, взмыться в воздух. Лица их были в пятнах, тела изогнуты, головы рывками поднимались и опускались, растопыренные кисти рук месили неподатливое вещество звуков. Происходило нечто неизмеримое; набухал неясно очерченный, готовый вот-вот лопнуть пузырь, и излучения взволнованных кончиков пальцев, нервных складок на лбу, судорог тела наполняли все новым чувством чудовищный персональный мятеж. Сколько раз, интересно, такое уже повторялось?

Ульрих не выносил этого всегда открытого рояля с оскаленными зубами, этого широкомордого, коротконогого – помесь таксы с бульдогом – идола, подчинившего себе жизнь его друзей вплоть до картинок на стене и худосочных эскизов фабричной художественной мебели; сюда входил даже тот факт, что прислуги у них не было, а была только приходящая служанка, которая стряпала и убирала. За окнами этого обиталища поднимались к волнистым лесам виноградники с купадами старых деревьев и кривыми домишками, но вблизи все было неряшливо, голо, разрозненно и вытравлено, как бывает там, где окраины больших городов врезаются в сельскую местность. Арку моста между таким передним планом и прелестной далью перекидывал инструмент; блестяще-черный, он выбрасывал за стены огненные столбы нежности и героики, хотя они, истертые в мельчайший звуковой пепел, рушились уже в сотне-другой шагов, не достигнув даже холма с соснами, где стоял трактир у дороги, на полпути к лесу. Комнаты, однако, рояль мог заставить греметь и был одним из тех мегафонов, через которые душа кричит во вселенную, как томимая течкой олениха, которой нет другого ответа, кроме такого же соревновательного зова тысячи других одиноко трубящих на всю вселенную душ. Сильная позиция Ульриха в этом доме основывалась на том, что он объявил музыку немощью воли и расстройством ума и говорил о ней пренебрежительнее, чем думал на самом деле; ибо для Вальтера и Клариссы она была в то время высочайшей надеждой и высочайшим страхом. Ульриха они отчасти презирали за это, отчасти почитали как какого-то злого духа.

Когда на сей раз игра закончилась, Вальтер, размягченный, выдохшийся, растерянный, остался на своем полуповернутом табурете сидеть у рояля, Кларисса же встала и оживленно приветствовала вторгшегося гостя. В ее руках и в ее лице еще дрожал электрический заряд игры, улыбка ее пробивалась сквозь напряжение восторга и отвращения.

– Лягушачий король! – сказала она, и голова ее, качнувшись назад, указала не то на музыку, не то на Вальтера.

Ульрих почувствовал, как снова напряглась упругая сила союза между ним и ею. В прошлый его приход она рассказала ему об ужасном сне: какое-то скользкое существо хотело овладеть ею спящей, оно было пузато-мягким, ласковым и омерзительным, и означала эта большая лягушка музыку Вальтера. У обоих друзей было не так-то много секретов от Ульриха. Поздоровавшись с ним, Кларисса уже опять от него отвернулась, быстро возвратилась к Вальтеру, снова выкрикнула свой боевой клич «лягушачий король», которого Вальтер, как показалось, не понял, и еще вздрагивавшими от музыки руками больно и с болью исступления рванула его за волосы. Ее супруг сделал мило смущенное лицо и на шаг приблизился, возвращаясь из скользкой пустоты музыки.

Потом Кларисса и Ульрих пошли без него погулять под косым стреловидным дождем вечернего солнца; он остался у рояля. Кларисса сказала:

– Способность запретить себе что-либо вредное – это проверка жизненной силы! Изнуренного влечет вредное!.. Что ты думаешь по этому поводу? Ницше утверждает, что это признак слабости, если художник слишком занят моральной стороной своего искусства.

Она села на землю, на бугорок.

Ульрих пожал плечами. Когда три года назад Кларисса вышла замуж за его друга юности, ей было двадцать два года, и он сам подарил ей на свадьбу сочинения Ницше.

– Будь я Вальтером, я вызвал бы Ницше на дуэль, – ответил он с улыбкой.

Стройная, нежно вырисовывавшаяся под платьем спина Клариссы напряглась, как тетива, и лицо ее тоже было полно напряжения; она боялась повернуть его к Ульриху.

– В тебе все еще есть что-то девчоночье и в то же время геройское... – прибавил Ульрих; это было сказано не то вопросительно, не то без вопроса, немного в шутку, но и с долей нежного изумления; Кларисса не совсем поняла, что он имел в виду, но оба его слова, которые он уже однажды употребил прежде, вонзились в нее, как горящая стрела в соломенную крышу.

Время от времени до них доносилась волна наугад взбаламученных звуков. Ульрих знал, что она неделями отказывала в близости Вальтеру, если он играл Вагнера. Тем не менее он играл Вагнера; с нечистой совестью; словно это был мальчишеский порок.

Клариссе хотелось спросить Ульриха, что ему об этом известно: Вальтер не умел ничего держать про себя; но ей было стыдно спрашивать. Теперь и Ульрих присел на бугорок поблизости от нее, и наконец она сказала нечто совсем другое.

– Ты не любишь Вальтера, – сказала она. – Ты на самом деле ему не друг.

Это прозвучало вызывающе, но она засмеялась.

Ульрих дал неожиданный ответ:

– Мы – друзья юности. Ты была еще ребенком, Кларисса, когда мы уже находились в особых отношениях кончающейся юношеской дружбы. Несметное число лет назад мы восхищались друг другом, а теперь мы не доверяем друг другу, зная друг друга насквозь. Каждому хочется избавиться от неприятного впечатления, что когда-то он путал другого с самим собой, и потому мы служим друг другу неподкупным кривым зеркалом.

– Ты, значит, не веришь, – сказала Кларисса, – что он еще чего-то достигнет.

– Нет второго такого примера неизбежности, как тот, что являет собой способный молодой человек, когда он суживается в обыкновенного старого человека – не от какого-то удара судьбы, а только от усыхания, заранее ему предназначенного!

Кларисса плотно сомкнула губы. Старый, времен юности, уговор между ними, что убеждения важнее вежливости, всколыхнул ей сердце, но было больно. Музыка! Звуки все время добирались сюда. Она прислушалась. Теперь, в молчанье, отчетливо доносилось клокотанье рояля. Если не прислушиваться, то оно словно бы вздымалось из бугров как «трепещущее пламя» вокруг Брунхильды.

Трудно было сказать, что представлял собою Вальтер в действительности. Он и поныне, это несомненно, был приятный человек с выразительными, полными значения глазами, хотя ему шел тридцать пятый год и он служил в каком-то причастном к искусству учреждении. Устроил ему эту удобную службу отец, пригрозив, что лишит его денежного подспорья, если он откажется от нее. Ведь, собственно, Вальтер был художником; одновременно с изучением истории искусства в университете он работал в классе живописи государственной академии и позднее некоторое время жил в мастерской. И, когда он с Клариссой вскоре после женитьбы на ней перебрался в этот дом на отшибе, он тоже был художником; но теперь, казалось, он снова был музыкантом; в течение десяти лет своей любви он бывал то тем, то другим, а вдобавок еще и поэтом, издавал литературный журнал и пошел было даже, чтобы жениться, служить в агентство по распространению пьес, но через несколько недель отказался от этой затеи, стал вскоре,

чтобы жениться, театральным дирижером, разглядел через полгода, что и это невозможно, был учителем рисования, музыкальным критиком, отшельником и многим другим, пока не лопнуло терпение его отца и его будущего тестя, несмотря на все их великодушие. Пожилые люди вроде них обычно утверждали, что у него просто нет воли; но с тем же правом можно было утверждать, что он всю свою жизнь был только разносторонним дилетантом, и в том-то и состояло самое удивительное, что всегда находились специалисты в области музыки, живописи или литературы, которые прочили Вальтеру великое будущее. В жизни Ульриха, наоборот, хотя ему и удалось сделать кое-что бесспорно ценное, никогда не бывало такого случая, чтобы кто-то пришел к нему и сказал: «Вот тот человек, которого я всегда искал и которого ждут мои друзья!» В жизни Вальтера такое случалось каждые три месяца. И даже если то бывали не самые авторитетные судьи, то все-таки все они были людьми, имевшими какое-то влияние, способными сделать заманчивое предложение, возглавлявшими какое-нибудь новое предприятие, располагавшими должностями, знакомствами и протекцией, которые они отдавали в распоряжение открытому ими Вальтеру, чья жизнь именно поэтому могла идти таким размашистым зигзагом. Было в нем, Вальтере, что-то казавшееся более важным, чем определенное свершение. Может быть, это был особый талант слыть большим талантом. И если это дилетантизм, то духовная жизнь немецкой нации в большой мере основана на дилетантизме, ибо этот талант встречается на всех уровнях вплоть до действительно очень талантливых людей, и только им его, по всей видимости, обычно недостает.

И даже талантом понимать это обладал Вальтер. Хотя он, конечно, как всякий, готов был считать свои успехи личной заслугой, все же счастливая легкость, с какою он поднимался от одной случайной удачи к другой, всегда тревожила его как пугающая легковесность, и каждая перемена его деятельности и человеческих связей происходила не только от непостоянства, но и от больших внутренних терзаний и в страхе, что он должен ради чистоты внутренних побуждений продолжить странствие, пока не успел закрепиться там, где уже намечается обманчивое пристанище. Его жизненный путь был цепью бурных переживаний, рождавших героическую борьбу души, которая, противясь всякой половинчатости, не подозревала, что служит тем самым своей собственной. Ибо в то время как он страдал и боролся за нравственность своей духовной деятельности, как то подобает гению, и целиком отдавал себя своему таланту, которого не хватало на что-то большое, его судьба кругами и потихоньку привела его назад к нулю. Он наконец достиг места, где ему уже ничто не мешало; тихая, незаметная, защищенная от всякой нечистоплотности художественного рынка служба в полуученой должности давала ему предостаточно независимости и времени, чтобы сосредоточенно прислушиваться исключительно к своему внутреннему зову, обладание любимой снимало шипы, коловшие его сердце, дом «на краю одиночества», куда он перебрался с ней после женитьбы, был словно создан для творчества. Но когда не осталось ничего, что нужно было преодолевать, случилось неожиданное: произведений, которые так долго сулило величие его помыслов, не последовало. Вальтер, казалось, не мог больше работать; он прятал и уничтожал; он каждое утро или пополудни, вернувшись домой, запирался на несколько часов, совершал многочасовые прогулки с закрытым альбомом для зарисовок, но то немногое, что из этого возникало, он никому не показывал или уничтожал. На это у него были сотни разных причин. Но и в целом взгляды его в это время начали поразительно меняться. Он уже не говорил больше о «современном искусстве» и об «искусстве будущего», – понятия эти были связаны с ним у Клариссы с пятнадцатилетнего возраста, – а подводил где-то заключительную черту, в музыке, например, после Баха, в литературе – после Штифтера, в живописи – после Энгра, и объявлял все позднейшее вычурным, упадочническим, утрированным и вырождающимся; мало того, он с каждым разом все запальчивей утверждал, что в такое отравленное в своих духовных корнях время, как нынешнее, чистый талант должен вообще воздерживаться от творчества. Но разоблачительно было то, что хотя из его уст можно было услышать столь строгие суждения, из его комнаты, как только он запи-

рался, все чаще доносились звуки Вагнера, то есть музыки, которую он в прежние годы учил Клариссу презирать как типичный образец мещански-вычурного, упадочнического времени, но перед которой теперь сам не мог устоять, как перед крепким, горячим, пьянящим зельем.

Кларисса сопротивлялась этому. Она ненавидела Вагнера хотя бы уже из-за его бархатной куртки и берета. Она была дочерью художника, чьи эскизы декораций и костюмов имели широкую славу. Детство ее прошло в царстве, дышавшем воздухом кулис и запахом краски, среди трех разных жаргонов искусства – театрального, оперного и мастерской художника, в окружении бархата, ковров, гениев, леопардовых шкур, безделушек, павлиньих опахал, ларей и лютей. Поэтому она терпеть не могла всякого сладострастия в искусстве и испытывала тягу ко всему аскетически-строгому, будь то метагеометрия новой атональной музыки или освежавшая, ясная, как препарат мышц, воля классических форм. Первую весть об этом принес в ее девичью неволю Вальтер. «Принц света» назвала она его, и, когда она была еще ребенком, они с Вальтером клятвенно обещали друг другу, что не поженятся, пока он не станет королем. История его перемен и предприятий была заодно историей безмерных страданий и восторгов, где роль награды за борьбу выпала ей. Кларисса не была так талантлива, как Вальтер, это она всегда чувствовала. Но она считала гениальность вопросом воли. С дикой энергией принялась она заниматься музыкой; не исключено, что она вообще не была музыкальна, но она обладала десятью сильными пальцами для игры на рояле и решительностью; она упражнялась целыми днями и погоняла свои пальцы, как десять тощих волов, которые должны вытащить из земли какую-то застрявшую в ней невероятную тяжесть. Таким же манером она занималась и живописью. С пятнадцатилетнего возраста она считала Вальтера гением, потому что всегда намеревалась выйти замуж только за гения. Она не разрешала ему не быть гением. И, увидев его несостоятельность, она стала бешено сопротивляться этому удушающему, медленному изменению атмосферы своей жизни. Как раз теперь Вальтеру и нужно было человеческое тепло, и, когда его мучило его бессилие, он льнул к ней, как дитя, ищущее молока и сна, но маленькое, нервное тело Клариссы не было материнским. Ей казалось, что из нее тянет соки паразит, который хочет в ней угнездиться, и она не поддавалась ему. Она презирала эту жаркую, как в прачечной, теплоту, где он искал утешения. Возможно, что это было жестоко. Но она хотела быть спутницей великого человека и боролась с судьбой.

Ульрих предложил Клариссе папиросу. Что мог он еще сказать ей, после того как с такой прямоотой сказал все, что он думал. Дымки их папирос, потянувшиеся за лучами вечернего солнца, соединились в некотором отдалении от них.

«Что знает Ульрих об этом? – думала Кларисса на своем бугорке. – Ах, что может он вообще понимать в такой борьбе!» Она вспомнила, как распадалось, каким изнуренно-пустым делалось лицо Вальтера, когда его одолевали муки музыки и чувственности, а ее сопротивление не давало им выхода; нет, полагала она, об этой чудовищности любовной игры словно бы на Гималаях, воздвигнутых из любви, презрения, страха и высших обязательств, Ульрих не знал ничего. Она была не очень благоприятного мнения о математике и никогда не считала его таким же талантливым, как Вальтер. Он был умен, он был логичен, он много знал; но разве это не больше, чем варварство? Правда, в теннис он играл раньше несравненно лучше, чем Вальтер, и Кларисса помнила, как иной раз при виде его решительных ударов она с такой остротой чувствовала, что он добьется чего захочет, с какой этого никогда не чувствовала при соприкосновении с живописью, музыкой или мыслями Вальтера. И она подумала: «А может быть, он знает о нас все, да не говорит?!» В конце концов, он ведь вполне ясно намекнул только что на ее героизм. Это молчание между ними стало теперь захватывающе интересным.

А Ульрих думал: «До чего же мила была Кларисса десять лет назад – это полудитя с пылающей верой в наше, троих, будущее». И неприятна она была ему, собственно, только один-единственный раз – когда они с Вальтером поженились: тогда она проявила то неприятное себялюбие вдвоем, которое часто делает молодых, честолюбиво влюбленных в своих мужей

женщин такими невыносимыми для других мужчин. «В этом отношении произошла большая перемена к лучшему», – подумал он.

## 15. Духовный переворот

Вальтер и он были молоды в то ушедшее ныне время вскоре после последней смены веков, когда многие думали, что и век тоже молод.

Век, сошедший тогда в могилу, во второй своей половине не очень-то отличился. Он был умен в технике, коммерции и в научных исследованиях, но вне этих центров своей энергии он был тих и лжив, как болото. Он писал картины, как древние, сочинял, как Гёте и Шиллер, и строил свои дома в стиле готики и Ренессанса. Требование идеального господствовало наподобие полицейского управления надо всеми проявлениями жизни. Но в силу того тайного закона, который не позволяет человеку подражать без утрирования, все делалось тогда так корректно, как то и не снилось боготворимым образцам, следы чего и сегодня еще видны на улицах и в музеях, и, связано ли это со сказанным или нет, целомудренные и застенчивые женщины того времени должны были носить платья от ушей до земли, но обладать пышной грудью и основательным задом. Впрочем, по разным причинам ни о каком минувшем времени не знают так мало, как о тех трех или пяти десятках лет, что лежат между собственным двадцатилетием и двадцатилетием отцов. Поэтому полезно, может быть, вспомнить и о том, что в плохие эпохи мерзейшие дома и стихи создаются по ничуть не менее прекрасным принципам, чем в самые лучшие; что у всех людей, уничтожающих достижения предшествующего хорошего периода, есть чувство, будто они их улучшают; и что бескровные молодые люди такого времени столь же высокого мнения о своей молодой крови, как новые люди во все прочие времена.

И это каждый раз кажется чудом, если после отлогого склона такой эпохи душа вдруг немного поднимется, как оно тогда и случилось. Из масляно-гладкого духа двух последних десятилетий девятнадцатого века во всей Европе вспыхнула вдруг какая-то окрыляющая лихорадка. Никто не знал толком, что заваривалось; никто не мог сказать, будет ли это новое искусство, новый человек, новая мораль или, может быть, новая перегруппировка общества. Поэтому каждый говорил то, что его устраивало. Но везде вставали люди, чтобы бороться со старым. Подходящий человек оказывался налицо повсюду; и что так важно, люди практически предприимчивые соединялись с людьми предприимчивости духовной. Развивались таланты, которые прежде подавлялись или вовсе не участвовали в общественной жизни. Они были предельно различны, и противоположности их целей были беспримерны. Любили сверхчеловека и любили недочеловека; преклонялись перед здоровьем и солнцем и преклонялись перед хрупкостью чахоточных девушек; воодушевленно исповедовали веру в героев и веру в рядового человека; были доверчивы и скептичны, естественны и напыщенны, крепки и хилы; мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стеклянных прудах, драгоценных камнях, гашише, болезни, демонизме, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание; если бы кто-нибудь разложил то время на части, получилась бы бессмыслица вроде угловатого круга, который хочет состоять из деревянного железа, но в действительности все сплавилось в мерцающий смысл. Эта иллюзия, нашедшая свое воплощение в магической дате смены столетий, была так сильна, что одни рьяно бросались на новый, еще не бывший в употреблении век, а другие напоследок давали себе волю в старом, как в доме, из которого все равно выезжать, причем обе эти манеры поведения не замечали такого уж большого несходства между собой.

Если не хочется, то и не надо, стало быть, переоценивать это прошедшее «движение». Да и существовало-то оно лишь в том тонком, текучем слое интеллигентов, который единодушно презирают поднявшиеся сегодня опять, слава богу, люди с мировоззрением, при всех его противоречиях непробиваемым, и не распространилось на массы. Но хоть историческим

событием все это не стало, событием оно было, и оба друга, Вальтер и Ульрих, застали еще, когда были молоды, его мерцание. Сквозь неразбериху верований что-то тогда пронеслось, как если бы множество деревьев согнулось под одним ветром, какой-то сектантский и реформаторский дух, блаженное сознание начала и перемены, маленькое возрождение и реформация, знакомые лишь лучшим эпохам, и тот, кто вступал тогда в мир, чувствовал уже на первом углу, как овекает этот дух щеки.

## 16. Таинственная болезнь времени

Значит, они и правда совсем не так давно были двумя молодыми людьми, – думал Ульрих, когда снова оказался один, – которых великие идеи осеняли странным образом не только в первую очередь, раньше, чем всех других, но к тому же и одновременно, ведь достаточно было одному открыть рот, чтобы сказать что-то новое, как другой уже делал это же потрясающее открытие. Есть что-то странное в юношеской дружбе: она как яйцо, чувствующее свою великолепную птичью будущность уже в желтке, но представляющее внешнему миру пока всего лишь несколько невыразительным овалом, который нельзя отличить от любого другого. Он ясно видел перед собой комнату мальчика и студента, где они встречались, когда он на несколько недель возвращался из своих первых вылазок в мир. Письменный стол Вальтера, заваленный рисунками, заметками и нотными листами, заранее излучавший блеск будущности знаменитого человека, и узкую этажерку напротив, у которой Вальтер в пылу беседы стоял, бывало, как Себастиан у столба, под светом лампы, падавшим на прекрасные волосы, всегда вызывавшие у Ульриха тайное восхищение. Ницше, Альтенбергу, Достоевскому или кого они на сей раз читали приходилось довольствоваться местом на полу или на кровати, когда в них уже не было надобности, а поток разговора не терпел такой мелочной помехи, как аккуратное водворение их на место. Заносчивость юности, для которой величайшие умы на то и нужны, чтобы пользоваться ими по своему усмотрению, показалась ему сейчас удивительно прелестной. Он попытался вспомнить их разговоры. Они были как сновидение, когда, просыпаясь, еще успеваешь поймать последние свои мысли во сне. И он подумал с легким изумлением: когда мы тогда что-то утверждали, у нас была еще и другая цель, кроме правоты, – утвердить себя! Настолько сильнее в юности было стремление светить самим, чем стремление видеть при свете. Воспоминание об этом словно бы парившем на лучах настроения юности он ощутил как мучительную утрату.

Ульриху казалось, что с началом зрелого возраста он попал в какой-то всеобщий спад, который, несмотря на случайные короткие всплески, разливался все более вялыми толчками. Трудно было сказать, в чем состояла эта перемена. Разве вдруг стало меньше выдающихся людей? Конечно нет! Да вовсе и не в них дело; уровень эпохи зависит не от них, ни бездуховность людей шестидесятых – восьмидесятых годов не могла, например, подавить развитие Геббеля и Ницше, ни они оба – бездуховность своих современников. Застыла общая жизнь? Нет, она сделалась мощнее! Стало ли больше, чем прежде, сковывающих противоречий? Вряд ли могло их стать больше! Разве раньше не соблазнились извращениями? Еще как! Говоря между нами, вступались за слабых мужчин и обходили вниманием сильных; случалось, что болваны играли роль вождей, а большие таланты – роль чудаков; не тревожась по поводу всяческих родовых мук, которые он называл упадочнической и больной гиперболизацией, истинный немец продолжал читать свои семейные журналы и посещал в несравненно больших количествах массовые мероприятия и академические выставки, чем авангардистские «сецессионы»<sup>5</sup>; а уж политика-то и вовсе игнорировала взгляды новых людей и их журналов, и официальные учреждения по-прежнему отгораживались от нового, как от чумы... Разве не правильнее было бы даже сказать, что с тех пор все изменилось к лучшему? Люди, возглавлявшие прежде лишь маленькие секты, стали теперь старыми знаменитостями; издатели и антиквары разбогатели; новое продолжает учреждаться; весь мир посещает и массовые мероприятия, и «сецессионы», и «сецессионы» «сецессионов»; семейные журналы коротко остриглись; государственные дея-

<sup>5</sup> Объединения художников в Мюнхене (1892), Вене (1897) и Берлине (1899), отвергавшие академизм и выступавшие провозвестниками стиля модерн.

тели любят показать свою компетентность в тонкостях культуры, а газеты делают историю литературы. Что же утрачено?

Что-то невесомое. Знак плюс или минус. Какая-то иллюзия. Как если бы магнит отпустил железные опилки и они снова перемешались. Как если бы размотался клубок ниток. Как если бы колонна пошла не в ногу. Как если бы оркестр начал фальшивить. Нельзя было назвать решительно ни одной частности, которая не была бы возможна и прежде, но все пропорции немного сместились. Идеи, авторитет которых прежде был тощим, стали тучными. Славу пожинали лица, которых прежде не принимали всерьез. Топорщившееся смягчилось, разделенное слилось вновь, независимые делали уступки всеобщим восторгам, уже сложившийся было вкус снова страдал неуверенностью. Резкие границы повсюду стерлись, и какая-то новая, не поддающаяся описанию способность родниться вынесла наверх новых людей и новые представления. Они не были дурными, отнюдь нет; только к хорошему примешалась чуточка великоватая доля дурного, к истине – заблуждения, к значительности – приспособленчества. Казалось прямо-таки, что для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата – она только и придавала гению гениальный, а таланту внушающий надежду вид, подобно тому как, по мнению многих, лишь известная добавка инжира или цикория придает кофе настоящую, полноценную кофейность, и вдруг все ключевые и важные позиции духа оказались заняты такими людьми, и все решения стали сообразны их вкусу. Ни на кого нельзя возлагать ответственность за это. И нельзя сказать, как все стало таким. Нельзя бороться ни с какими-то людьми, ни с какими-то идеями или определенными явлениями. Нет недостатка ни в таланте, ни в доброй воле, ни в характерах. Только есть такой же недостаток во всем, какого нет ни в чем; ощущение такое, словно изменилась кровь или изменился воздух, таинственная болезнь сожрала небольшие задатки гениальности, имевшиеся у прежней эпохи, но все сверкает новизной, и в конце концов не знаешь уже, действительно ли мир стал хуже или просто ты сам стал старше. Тут-то и окончательно наступает новое время.

Вот как изменилось время, – как день, поначалу сияющий голубизной и потихоньку заволакивающийся, – и оно не было настолько любезно, чтобы подождать Ульриха. Он оплачивал своему времени тем, что причину таинственных изменений, которые, пожирая гений, составляли его, времени, болезнь, считал самой обыкновенной глупостью. Совсем не в обидном смысле. Ведь если бы изнутри глупость не была до неразличимости похожа на талант, если бы извне она не могла казаться прогрессом, гением, надеждой, совершенствованием, никто бы, пожалуй, не захотел быть глупым и глупости не было бы. По крайней мере с ней было бы очень легко бороться. Но в ней, к сожалению, есть что-то необыкновенно располагающее и естественное. Если, например, найдут, что олеография – изделие более искусное, чем написанная вручную картина, то в этом будет и своя истина, и доказать ее можно точнее, чем ту истину, что Ван Гог был великий художник. Точно так же очень легко и выгодно быть как драматург сильнее Шекспира или как повествователь ровнее Гёте, и чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие. Нет решительно ни одной значительной идеи, которую глупость не сумела бы применить, она может двигаться во все стороны и облачаться в одежды истины. У истины же всегда только одна одежда и один путь, и она всегда внакладе.

Но в связи с этим Ульриху вскоре пришла в голову одна странная штука. Он представил себе, будто великий церковный философ Фома Аквинский, умерший в 1274 году, после того как он с несказанным трудом привел в полный порядок мысли своего времени, – будто он предпринял еще более глубокое и основательное исследование и лишь только что закончил его; и вот, оставшись по какой-то особой милости молодым, он вышел, с несколькими фолиантами под мышкой, из сводчатой двери своего дома, и перед носом у него промчался трамвай. Недоуменное удивление «доктора универсалис», как называли знаменитого Фому в прошлом, позабавило Ульриха. По пустой улице приближался мотоциклист, руки и ноги колесом,

он с грохотом вырастал из перспективы. На лице его была серьезность ревущего с невероятной важностью ребенка. Ульрих вспомнил тут портрет одной знаменитой теннисистки, который видел на днях в каком-то журнале; она стояла на носке, с открытой до самой подвязки и выше ногой, закинув другую ногу к голове и высоко замахнувшись ракеткой, чтобы взять мяч; при этом лицо у нее было как у английской гувернантки. В том же журнале была изображена пловчиха, которую массируют после состязания; в ногах и в головах у нее, наблюдая за происходящим самым серьезным образом, стояли особы женского пола в верхней одежде, а она голышом лежала на кровати, на спине, с приподнятым, как будто она отдавалась, коленом, и на нем покоились руки массажиста во врачебном халате, стоявшего рядом и смотревшего с фотографии так, словно это женское тело освежено и висит на крюке.

Тогда стали появляться такие вещи, и существование их надо было как-то признать, как признают существование высотных зданий и электричества. «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого», – чувствовал Ульрих. Да он и всегда готов был любить все эти формы живого. Никогда ему только не удавалось любить их безгранично, как того требует чувство социального благополучия; давно уже на всем, что он делал и испытывал, лежала печать неприязни, тень бессилия и одиночества, универсальная неприязнь, к которой он не находил дополнения в какой-то приязни. Порой у него было на душе совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать.

## 17. Воздействие человека без свойств на человека со свойствами

Беседуя, Ульрих и Кларисса не замечали, что музыка позади них порой прекращалась. Тогда Вальтер подходил к окну. Он не мог видеть их, но чувствовал, что они находились у самой границы его поля зрения. Его мучила ревность. Низменный дурман тяжело-чувственной музыки влек его назад. Рояль за его спиной был открыт, как постель, разворошенная спящим, который не хочет просыпаться, потому что не хочет смотреть в лицо действительности. Зависть паралитика, чувствующего, как шагают здоровые, изводила его, а заставить себя присоединиться к ним он не мог, ибо его боль делала его беззащитным перед ними.

Когда Вальтер поднимался утром и спешил на службу, когда он весь день говорил с людьми, а потом ехал среди них домой, он чувствовал себя человеком выдающимся и призванным к чему-то особому. Он думал тогда, что видит все иначе; его могло взволновать то, мимо чего небрежно проходили другие, а где другие небрежно хватали ту или иную вещь, там даже движение собственной руки было полно для него духовных приключений или самовлюбленной расслабленности. Он был чувствителен, и чувство было у него всегда взбудоражено копанием в мыслях, их провалами, колышущимися долинами и горами; он никогда не бывал равнодушен, а во всем видел счастье или несчастье и благодаря этому всегда находил повод для усиленных размышлений. Такие люди необыкновенно притягательны для других, потому что этим другим передается нравственное волнение, в котором они непрестанно находятся; в их разговорах все принимает личное значение, и поскольку, общаясь с ними, можно все время заниматься самим собой, они доставляют удовольствие, которое вообще-то можно получить лишь за плату у какого-нибудь психоаналитика или специалиста по индивидуальной психологии, да еще с той разницей, что там чувствуешь себя больным, а Вальтер помогал людям казаться самим себе очень важными по причинам, дотоле ускользавшим от них. Этим свойством – распространять духовную самососредоточенность – он покори́л и Клариссу и постепенно вытеснил всех соперников; поскольку все становилось у него этическим волнением, он мог убедительно говорить о безнравственности украшательства, о гигиене гладкой формы и о пивных парах вагнеровской музыки, как то соответствовало новому художественному вкусу, и приводил этим в ужас даже своего будущего тестя, чей мозг живописца был как распушенный павлиний хвост. Таким образом, не подлежало сомнению, что у Вальтера были успехи в прошлом.

Но как только он, полный впечатлений и планов небывалой еще, может быть, зрелости и новизны, прибывал домой, с ним происходила обескураживающая перемена. Ему достаточно было установить холст на мольберте или положить листок бумаги на стол – и уже возникало ощущение ужасной пропажи в его душе. Его голова оставалась ясной, и план в ней маячил как бы в очень прозрачном и чистом воздухе, план даже разъединялся, превращался в два плана или в большее число планов, которые могли оспаривать первенство друг у друга; но связь между головой и первыми, необходимыми для исполнения движениями словно бы отрезало. Вальтер не мог решиться шевельнуть и пальцем. Он просто не вставал с места, где ему случилось сесть, и мысли его соскальзывали с поставленной им перед собой задачи, как снег, что тает, едва упав. Он не знал, чем заполнялось время, но не успевал он оглянуться, как наступал вечер, и поскольку после нескольких таких случаев он уже приходил домой со страхом перед их повторением, целые вереницы недель стали скользить и проходили как сумбурный полусон. Замедленный безнадежностью во всех своих решениях и побуждениях, он страдал от горькой грусти, и его неспособность превратилась в боль, которая часто, как носовое кровотечение, возникала у него где-то во лбу, едва он решался за что-либо взяться. Вальтер был пуглив, и эти явления, которые он отмечал у себя, не только мешали ему работать, но и очень страшили

его, они настолько, казалось, были независимы от его воли, что часто производили на него впечатление начинающейся умственной деградации.

Но хотя его состояние в течение последнего года все ухудшалось, он в то же самое время нашел удивительную поддержку в мысли, которой никогда прежде достаточно не ценил. Мысль эта состояла не в чем ином, как в том, что Европа, где он был вынужден жить, безнадежно выродилась. В эпохи, внешне благополучные, но внутренне переживающие тот спад, который происходит, вероятно, во всяком деле, а потому и в духовном развитии, если на него не направляют особых усилий и не дают ему новых идей, – в такие эпохи прежде всего следовало бы, собственно, задаться вопросом, какие тут можно принять меры противодействия; но неразбериха умного, глупого, подлого, прекрасного как раз в такие времена настолько запутанна и сложна, что многим людям явно проще верить в какую-то тайну, отчего они и провозглашают неумеримый упадок чего-то, что не поддается точному определению и обладает торжественной расплывчатостью. Да и совершенно, в сущности, безразлично, что это – раса, сырая растительная пища или душа: как при всяком здоровом пессимизме, тут важно только найти что-то неизбежное, за что можно ухватиться. И хотя Вальтер в лучшие годы способен был смеяться над такими теориями, он тоже, начав прибегать к ним, быстро увидел великие их преимущества. Если дотоле был не способен к работе и плохо чувствовал себя *он*, то теперь неспособно к ней было *время*, а он был здоров. Его ни к чему не приведшая жизнь нашла вдруг потрясающее объяснение, оправдание в эпохальном масштабе, его достойное; и это принимало уже характер прямо-таки великой жертвы, если он брал в руку и опять клал на место карандаш или перо.

Тем не менее Вальтеру еще приходилось бороться с собой, и Кларисса мучила его. На разговоры о пороках времени она не шла, она верила в гений прямолинейно. Что это такое, она не знала, но все ее тело трепетало и напрягалось, когда заходила об этом речь; это либо чувствуешь, либо не чувствуешь – таково было единственное ее доказательство. Для Вальтера она всегда оставалась той маленькой, жестокой пятнадцатилетней девочкой. Никогда она целиком не понимала его чувств, и ему никогда не удавалось подчинить ее себе. Но при всей своей холодности и суровости, сменявшихся у нее восторженностью и сочетавшихся с беспредметно-пламенной волей, она обладала таинственной способностью влиять на него так, словно через нее поступали толчки с какой-то стороны, которую нельзя было указать в трехмерном пространстве. Иногда от этого делалось жутковато. Особенно он чувствовал это, когда они играли вдвоем. Игра Клариссы была сурова и бесцветна, подчиняясь чуждому ему закону волнения; когда тела пылали так, что сквозь них светилась душа, он чувствовал это с пугающей силой. Что-то поддающееся определению отрывалось тогда от нее и грозило улететь вместе с ее духом. Шло оно из какой-то тайной полости в ее естестве, которую нужно было в страхе держать закрытой; он не знал, по каким признакам он это чувствовал и что это было; но это мучило его невыразимым страхом и потребностью предпринять что-то решительное, чего он не мог сделать, ибо никто, кроме него, ничего такого не замечал.

Глядя в окно на возвращавшуюся Клариссу, он был почти уверен, что опять не удержится от искушения говорить об Ульрихе плохо. Ульрих вернулся некстати. Он причинял Клариссе вред. Он жестоко ухудшал в ней то, чего Вальтер не осмеливался беречь, каверну беды, все бедное, больное, зловеще-гениальное в Клариссе, тайное пустое пространство, где цепи были натянуты так, что могли в один прекрасный день и вовсе не выдержать. И вот она стояла перед ним с непокрытой головой, только что войдя, держа в руке летнюю шляпу, и он смотрел на нее. Глаза ее были насмешливы, ясны, нежны; может быть, немного слишком ясны. Иногда у него бывало такое чувство, что она просто обладает силой, отсутствующей у него. Жалом, которое никогда не даст ему покоя, была она для него уже в свои детские годы, и сам он, конечно, никогда не хотел, чтобы она была другой; в этом, может быть, и состояла тайна его жизни, непонятная тем двум.

«Глубоки наши муки! – подумал он. – Нечасто, наверно, два человека любят друг друга так глубоко, как должны любить мы». И без перехода заговорил:

– Не хочу знать, что рассказывал тебе Уло. Но могу сказать, что его сила, которой ты любишься, не что иное, как пустота!

Кларисса посмотрела на рояль и улыбнулась; Вальтер непроизвольно уселся опять у открытого рояля. Он продолжал:

– Легко, должно быть, испытывать героические чувства, если от природы ты нечувствителен, и мыслить километрами, если понятия не имеешь, какие миры таит в себе любой миллиметр!

Они называли его иногда Уло, как в пору его юности, и он любил их поэтому так, как сохраняют улыбчивую почтительность к своей кормилице.

– Он застрял на месте! – прибавил Вальтер. – Ты этого не замечаешь. Но не думай, что я его не знаю!

У Клариссы были какие-то сомнения.

Вальтер резко сказал:

– Нынче все разложилось! Бездонная пропасть интеллекта! Интеллект у него и есть, это я признаю. Но он совершенно не знает, что такое власть цельной души. О том, что Гёте называет личностью, о том, что Гёте называет подвижным порядком, он и ведать не ведаёт. «Эта дивная мысль о пределах власти, о законе и буйстве, о свободе и мере, о порядке подвижном...»

Стихи волнами срывались с его губ. Кларисса с приветливым удивлением посмотрела на эти губы, словно с них слетела какая-то милая игрушка. Затем опомнилась и вставила тоном заботливой мамочки:

– Хочешь пива?

– Пива? Почему бы нет? Я ведь всегда не прочь.

– Но в доме нет пива!

– Жаль, что ты спросила меня, – вздохнул Вальтер. – Я, может быть, совсем об этом и не подумал бы.

Для Клариссы вопрос был уже исчерпан. Но Вальтер вышел теперь из равновесия; он уже не находил должного продолжения.

– Помнишь наш разговор о художниках? – спросил он неуверенно.

– Какой?

– Который был у нас несколько дней назад. Я объяснял тебе, что значит живое творческое начало в человеке. Не помнишь, как я пришел к выводу, что прежде вместо смерти и логической механизации царили кровь и мудрость?

– Нет.

Вальтер запнулся, поискал, поколебался. Вдруг он выпалил:

– Он человек без свойств!

– Что это такое? – спросила Кларисса, хихикнув.

– Ничего. Именно ничего!

Но слова Вальтера расшевелили любопытство Клариссы.

– Нынче их миллионы, – утверждал Вальтер. – Это порода людей, рожденная нашим временем! – Нечаянно найденные слова понравились ему самому, как если бы он начал стихотворение, слова эти погнали его вперед, прежде чем он уловил их смысл. – Погляди на него! За кого ты могла бы его принять? Похож ли он на врача, на коммерсанта, на художника или на дипломата?

– Но ведь он не врач, не коммерсант и так далее, – трезво возразила Кларисса.

– Что ж, может быть, он походит на математика?

– Этого я не знаю. Я же не знаю, как должен выглядеть математик!

– Ты сказала сейчас нечто очень верное! Математик ни на кого не походит. То есть вид у него настолько интеллигентный вообще, что какого-то единственного, определенного содержания лишен! За исключением римско-католических священников, нынче уже вообще никто не выглядит так, как ему подобало бы, потому что своей головой мы пользуемся еще безличнее, чем своими руками. Но математика – это вершина, она уже сегодня знает о себе так же мало, как будут, наверно, знать люди о лугах, телятах и курах, когда станут питаться не хлебом и мясом, а энергетическими таблетками!

Кларисса тем временем поставила на стол нехитрый ужин, и Вальтер уже вовсю им занялся, чем, может быть, и было внушено ему это сравнение. Кларисса смотрела на его губы. Они напоминали ей его умершую мать, это были очень женственные губы, занятые едой, как какой-нибудь работой по дому, и над ними – маленькие, подстриженные усики. Глаза его блестели, как свежеоблупленные каштаны, даже когда он просто искал кусок сыра на блюде. Хотя он был малого роста и сложения скорее рыхлого, чем хрупкого, он обращал на себя внимание и принадлежал к людям, которые кажутся всегда хорошо освещенными.

Он продолжал говорить:

– Ты не можешь угадать его профессию по его виду, однако он не выглядит и как человек, профессии не имеющий. А теперь сообрази, каков он. Он всегда знает, что надо сделать. Он может посмотреть женщине в глаза. Он может в любую минуту тщательно все обдумать. Он может пустить в ход кулаки. Он талантлив, наделен силой воли, лишен предрассудков, мужествен, вынослив, напорист, осторожен – не хочу проверять все это по отдельности, пусть у него будут все эти свойства. Ведь у него-то их нет! Они сделали из него то, что он есть, и определили его путь, и все же они ему не принадлежат. Когда он зол, в нем что-то смеется. Когда он грустен, он что-то готовит. Когда его что-то трогает, он этого не приемлет. Любой скверный поступок покажется ему в каком-то отношении хорошим. Всегда лишь какая-то возможная связь решает для него, как смотреть на то или иное дело. Для него нет ничего раз навсегда установленного. Все видоизменяемо, всё – часть целого, бесчисленных целых, принадлежащих, возможно, к сверхцелому, которого он, однако, ни в коей мере не знает. Поэтому каждый его ответ – ответ частичный, каждое его чувство – лишь точка зрения, и важно для него не «что это», а лишь какое-нибудь побочное «каково это», важна для него всегда какая-то примесь. Не знаю, понятно ли я говорю.

– Вполне, – сказала Кларисса. – Но я нахожу это очень милым с его стороны.

Вальтер произвольно говорил с растущей неприязнью; старое мальчишеское чувство более слабого, столь часто сопутствующее дружбе, увеличивало его ревность. Ведь хотя он и был убежден, что, кроме нескольких простых демонстраций своей смысленности, Ульрих ничего не совершил, втайне Вальтер не мог избавиться от впечатления, что физически он всегда уступал Ульриху. Картина, которую он набросал, освободила его как удавленное произведение искусства; не он извлек ее из себя, а вне его, подверстываясь к таинственной удаче начала, лепились слова к словам, и при этом внутри его распадалось что-то, так и не доходившее до его сознания. Закончив, он понял, что Ульрих выражает не что иное, как эту бесхребетность, присущую ныне всему на свете.

– Тебе это нравится? – спросил он, горько теперь удивленный. – Ты не можешь утверждать это всерьез!

Кларисса жевала хлеб с мягким сыром; она могла только улыбнуться глазами.

– Ах, – сказал Вальтер, – прежде мы, может быть, тоже думали примерно так. Но ведь это лишь предварительный этап, не больше. Ведь такой человек – это не человек!

Теперь Кларисса дожевала.

– Он же сам это говорит! – возразила она.

– Что говорит он сам?

– Ах, мало ли что?! Что сегодня все распалось. Он говорит, что все застряло на месте, не только он. Но он на это не в такой обиде, как ты. Он как-то рассказал мне одну длинную историю. Если разложить на части естество тысячи человек, то окажется каких-нибудь два десятка свойств, чувств, реакций, конструкций и так далее, из которых все они состоят. А если разложить наше тело, то получится только вода и десяток-другой кусочков материи, в ней плавающих. Вода поднимается в нас точно так же, как в деревьях, и тела животных она образует так же, как облака. Я нахожу, что это славно. Только вот не знаешь тогда, что о себе и думать. И что надо делать. – Кларисса хихикнула. – На это я ответила ему, что в неслужебные дни ты с утра до вечера удишь рыбу и лежишь у воды.

– Ну и что? Хотел бы я знать, выдержал ли бы он это хотя бы десять минут. Но люди, – сказал Вальтер твердо, – делают это уже десять тысяч лет, они глядят на небо, чувствуют земное тепло и не разлагают все это на части, как не разлагают на части свою мать!

Кларисса опять невольно хихикнула.

– Он говорит, что с тех пор все очень усложнилось. Так же, как мы плаваем по воде, мы плаваем и в море огня, в буре электричества, в небе магнетизма, в болоте тепла и так далее. Но неощутимо. В конце концов остаются вообще только формулы. И что они по-человечески означают, выразить толком невозможно. Вот и все. Я уже забыла, что учила в лицее. Но так примерно оно, кажется, и есть. И если сегодня, говорит он, кто-нибудь хочет, как святой Франциск или ты, назвать птиц братьями, то он не вправе просто тешить себя этим, а должен решиться полезть в печь, утечь в землю через токоприемник трамвая или выплеснуться в канал через кухонную мойку.

– Да, да! – прервал Вальтер ее отчет. – Сначала четыре элемента превращаются в несколько десятков, а кончается дело тем, что мы плаваем в одних только отношениях, процессах, в помоях процессов и формул, в чем-то таком, о чем не знаешь, вещь ли это, процесс ли, фантазия или черт знает что! Тогда нет, значит, разницы между солнцем и спичкой, и между ртом, как одним из концов пищеварительного тракта, и другим его концом тоже никакой разницы нет! У одной и той же вещи есть сотня сторон, у стороны сотня аспектов, и с каждым связаны другие чувства. Человеческий мозг, получается, успешно расщепил вещи; но вещи расщепили, выходит, человеческое сердце! – Он вскочил, но не вышел из-за стола. – Кларисса! – сказал он. – Он опасен для тебя! Пойми, Кларисса, сегодня человеку ничего так не нужно, как простота, близость к земле, здоровье. И – да, безусловно, можешь говорить что угодно, – и ребенок, потому что именно ребенок прочно привязывает человека к почве. Все, что тебе рассказывает Уло, бесчеловечно. Уверю тебя, у меня есть мужество просто пить с тобой кофе, вернувшись домой, слушать птиц, немножко погулять, перекинуться словом с соседями и спокойно закончить день. Это и есть человеческая жизнь!

Нежность этих видений медленно приближала его к ней; но, как только вдалеке мягко забасили отцовские чувства, Кларисса заупрямилась. Ее лицо онемело, пока он к ней приближался, и заняло оборонительную позицию.

Когда он подошел к ней вплотную, он весь истекал теплой нежностью, как хорошая крестьянская печь. Кларисса на мгновение заколебалась в этих потоках тепла. Потом она сказала:

– Дудки, милый мой! – Она схватила со стола кусок сыра и хлеба и быстро поцеловала Вальтера в лоб. – Пойду погляжу, нет ли ночных мотыльков.

– Но ведь в это время года, Кларисса, – взмолился Вальтер, – уже не бывает бабочек.

– Ну, это неизвестно!

От нее в комнате остался только смех. С куском хлеба и сыра бродила она по лугам; местность была спокойная, и в провожатых она не нуждалась. Нежность Вальтера опала, как преждевременно снятое с огня суфле. Он глубоко вздохнул. Потом, помедлив, снова сел за рояль и ударил по клавишам. Хотел он того или нет, получалась фантазия на мотивы вагнеровских опер, и под всплески этого необузданно бурлившего вещества, в котором он некогда, во

времена заносчивости, себе отказывал, пальцы его барахтались и плескались в потоке звуков. Пускай это слышат и вдалеке! Наркоз этой музыки парализовал его спинной мозг и облегчал его участь.

## 18. Моосбругер

В это время публику занимало дело Моосбругера.

Моосбругер был плотник, рослый, широкоплечий, поджарый человек, с волосами как шкурка коричневого барашка и добродушно сильными лапами. Добродушную силу и порядочность выражало и его лицо, и кто их не увидел бы, тот почувствовал бы их по запаху, крепкому, честному, сухому запаху рабочего дня, неотъемлемому от этого тридцатилетнего человека и идущему от общения с деревом и от работы, требующей рассудительности не меньше, чем напряжения.

Люди останавливались как вкопанные, впервые увидев это лицо, наделенное Богом всеми приметамы доброты, ибо обычно Моосбругер ходил в сопровождении двух вооруженных судебных охранников, с крепко связанными спереди руками и на прочной стальной цепочке, ручку которой держал один из сопровождавших.

Когда он замечал, что на него смотрят, на его широком добродушном лице с нечесаной шевелюрой, усами и бородкой появлялась улыбка; носил он короткий черный пиджак и светло-серые брюки, шагал по-военному широко, но больше всего занимала судебных репортеров эта улыбка. Улыбка эта могла быть смущенной или лукавой, иронической, коварной, скорбной, безумной, кровожадной, жуткой, – явно перебирая противоречивые определения, они, казалось, отчаянно старались найти в этой улыбке что-то такое, чего, видимо, нигде больше не находили во всем его добропорядочном облике.

Ведь Моосбругер зверски убил уличную женщину, проститутку самого низкого разряда. Репортеры точно описали рану на шее – от гортани до затылка, а также две колотых раны в груди, прошедшие сквозь сердце, две на левой стороне спины и надрезы на грудях, которые были почти отделены от тела; репортеры выразили свое отвращение к описанному, но не остановились, пока не насчитали еще тридцать пять уколов в живот и не объявили о резаной ране почти от пупка до крестца, продолженной вверх по спине множеством более мелких, а также о следах удушения на горле. Они не находили обратного пути от всех этих ужасов к добродушному лицу Моосбругера, хотя сами были людьми добродушными, и все-таки описали случившееся объективно, компетентно и явно задыхаясь от напряжения. Даже напрашивавшимся объяснением, что, мол, перед ними душевнобольной, – ибо Моосбругер уже несколько раз попадал в сумасшедший дом за подобные преступления, – они не воспользовались, хотя сегодня хороший репортер прекрасно разбирается в таких вопросах; они, казалось, пока еще никак не хотели отказываться от злодея и выпускать этот случай из собственного мира в мир больных, в чем были согласны с психиатрами, успевшими столько же раз объявить Моосбругера здоровым, сколько и невменяемым. А потом, как ни странно, случилось так, что, едва узнав о патологических выходках Моосбругера, тысячи людей, осуждающих газеты за их падкость на сенсации, сразу восприняли эту новость как «что-то наконец интересное» – и вечно спешащие чиновники, и их четырнадцатилетние сыновья, и погруженные в домашние заботы супруги. Вздыхали, правда, по поводу такого выроodka, но заняты были им истовее, чем делом собственной жизни. И в эти дни какой-нибудь добропорядочный начальник отдела или управляющий банком вполне мог, ложась в постель, сказать своей сонной супруге: «Что бы ты сейчас сделала, если бы я был Моосбругером...»

Ульрих, когда его взгляд упал на это отмеченное участием Бога лицо над наручниками, тут же повернул обратно, сунул часовому близлежащего окружного суда несколько папирос и спросил об арестанте, который, по-видимому, недавно прошел под конвоем через эти ворота; так он узнал... но так, должно быть, происходили подобные вещи прежде, поскольку часто о них повествуют в этой манере, да и сам Ульрих почти верил, что так оно и было, но современная правда состояла в том, что он просто прочел обо всем в газете. Прошло еще много времени,

прежде чем он лично познакомился с Моосбругером, а увидеть его дотоле воочию Ульриху удалось только один раз во время слушания дела. Вероятность узнать что-либо необычное из газеты гораздо больше, чем вероятность столкнуться с этим самому; другими словами, в области абстракции происходят сегодня более существенные вещи, а менее значительные – в действительности.

Узнал же Ульрих этим путем об истории Моосбругера примерно следующее.

Моосбругер был в детстве бедным пастушонком в такой крошечной деревушке, что к ней даже проселочной дороги не было, и беден он был настолько, что ни разу не разговаривал с девушкой. На девушек он мог всегда только глядеть – и позднее, в годы ученья, и уж подавно потом, когда скитался. Надо только представить себе, что это значит. На то, чего желаешь так же естественно, как хлеба или воды, можно всегда только глядеть. Через некоторое время желаешь этого уже неестественно. Она проходит мимо, и юбки колышутся над ее икрами. Она перелезает через забор, и нога становится видна до колена. Ты глядишь ей в глаза, и они делаются непроницаемыми. Ты слышишь, как она смеется, быстро оборачиваешься и видишь лицо, такое же неподвижно круглое, как норка, в которую только что юркнула мышь.

Понятно поэтому, что даже после первого убийства девушки Моосбругер оправдывался тем, что его постоянно преследуют духи, взывающие к нему день и ночь. Они поднимали его с постели, когда он спал, и мешали ему во время работы; еще он слышал, как они днем и ночью разговаривают и спорят между собой. Это не была душевная болезнь, и Моосбругер терпеть не мог, когда об этом так говорили; он, правда, сам иногда украшал это воспоминаниями о церковных проповедях или излагал с учетом советов насчет симуляции, которые можно получить в тюрьмах, но материал был всегда наготове; он только немного тускнел, когда внимание от него отвлекалось.

Так было и во время скитаний. Зимой плотнику трудно найти работу, и Моосбругер часто неделями жил без крова. Идешь, бывает, целый день, приходишь в селенье, а пристанища нет. Шагай дальше до поздней ночи. Поест нет денег, вот и пьешь водку, пока не зарябит в глазах и тело само не пойдет. В ночлежку проситься не хочется, несмотря на теплый суп, отчасти из-за насекомых, отчасти из-за унижений, которых там натерпишься; лучше уж добыть, побираясь, крейцер-другой и залезть на сеновал к какому-нибудь крестьянину. Без спросу, конечно, а то сперва долго проси, а потом только обиду терпи. Утром, правда, из-за этого часто выходит ссора и донос насчет хулиганства, бродяжничества и нищенства, и постепенно толстеет подшивка судимостей, которую каждый новый судья преподносит с таким важным видом, словно она-то и объясняет Моосбругера.

А кому бы задуматься, что это значит – днями и неделями не мыться по-настоящему. Кожа становится такой заскорузлой, что позволяет делать только грубые движения, даже если хочется сделать ласковое, и под такой корой затвердевает живая душа. Рассудок, должно быть, задет этим меньше, необходимое продолжаешь делать вполне разумно; он, должно быть, горит, как маленький огонек в огромном ходячем маяке, полном растоптанных дождевых червей и кузнечиков, но все личное тут раздавлено, и ходит лишь охваченное брожением органическое вещество. И вот когда Моосбругер, скитаясь, шел по деревне или по пустынной дороге, на пути его встречались целые процессии женщин. Сперва одна женщина и только через полчаса, правда, другая, но даже если они появлялись через такие большие промежутки и никакого отношения друг к другу не имели, в общем это были все равно процессии. Они шли из одной деревни в другую или просто на минутку выбегали из дома, они носили толстые платки или кофты, змейчато обтягивавшие бедра, они входили в теплые горницы, или вели перед собой своих детей, или были на дороге так одиноки, что их можно было сшибить камнем, как ворону. Моосбругер утверждал, что он не садист, убивающий удовольствия ради, потому что вдохновляло его всегда только отвращение к этому бабью, и так оно, наверно, и есть, ведь можно понять и кошку, которая сидит перед клеткой, где прыгает вверх и вниз толстая золотистая канарейка,

или хватает лапой мышь, отпускает, опять хватает, чтобы еще раз увидеть, как та бежит; а что такое собака, друг человека, которая бежит за катящимся колесом и только понарошку кусает его? В таком отношении к живому, движущемуся, безмолвно катящемуся или шмыгающему есть доля тайной неприязни к радующемуся самому себе со-существо. И что, наконец, было делать, если она кричала? Можно было либо опомниться, либо, если опомниться-то не можешь, вдавить ее лицо в землю и набить ее рот землей.

Моосбругер был лишь бродячим плотником, совсем одиноким человеком, и хотя везде, где он работал, товарищи с ним ладили, друзей у него не было. Сильнейший инстинкт время от времени жестоко обращал его естество к внешнему миру; но, может быть, ему и правда не хватало лишь, как он говорил, воспитания и условий, чтобы сделать из этой потребности что-нибудь другое, – ангела массовой смерти, поджигателя театра, великого анархиста; ведь анархистов, сплывающихся в тайных союзах, он с презрением называл жуликами. Он был, несомненно, болен; но хотя в основе его поведения явно лежала патология, отделявшая его от других людей, ему-то это казалось лишь более сильным и более высоким сознанием своего «я». Вся его жизнь была до смешного, до ужаса неуклюжей борьбой за то, чтобы это признали и оценили. Он уже мальчишкой переломал пальцы своему хозяину, когда тот вздумал его наказывать. От другого он удрал с деньгами – справедливости ради, как он говорил. Ни на одном месте он не выдерживал долго; он оставался везде до тех пор, пока – так поначалу всегда бывало – держал людей в робости своим молчаливым трудолюбием при добродушном спокойствии и здоровенных плечах; но, как только люди начинали обращаться с ним фамильярно и непочтительно, словно наконец раскусили его, он сматывал удочки, ибо его охватывало жутковатое чувство, будто его кожа сидит на нем недостаточно плотно. Один раз он сделал это слишком поздно; четыре каменщика на стройке сговорились доказать ему свое превосходство, сбросив его с верхнего этажа лесов; услышав, как они уже хихикают у него за спиной и подкрадываются, он обрушил на них всю свою огромную силу, спустил одного с двух лестниц, а двоим другим перерезал на руках все сухожилия. То, что его наказали за это, перевернуло ему, как он говорил, душу. Он эмигрировал. В Турцию; и вернулся, ибо мир везде сплывался против него; ни волшебными словами нельзя было разрушить этот заговор, ни добротой.

А такие слова он усердно подхватывал в сумасшедших домах и тюрьмах – крохи французского и латинского, которые он в самых неподходящих местах вставлял в свои речи, с тех пор как обнаружил, что владение этими языками дает власть имущим право «выносить решение» о его судьбе. По той же причине он старался и на судебных заседаниях выражаться по-книжному, говорил, например, «это, по-видимому, является основой моего зверства» или «я ее представлял себе еще более жестокой, чем обычно бывают, по моему наблюдению, такого рода бабы»; видя, однако, что и это не производит ожидаемого впечатления, он нередко принимал театральную эффектную позу и надменно объявлял себя «анархистом по убеждениям», который в любую минуту мог бы быть спасен социал-демократами, если бы захотел одолжаться у этих евреев, злейших эксплуататоров трудового невежественного народа. И у него, таким образом, оказывалась своя «наука», область, недоступная ученым притязаниям его судей.

Обычно это приносило ему в зале суда оценку «недожиданные умственные способности», почтительное внимание во время процесса и более суровые наказания, но польщенное его тщеславие воспринимало, в сущности, эти процессы как почетные периоды его жизни. А потому он ни к кому не пылал такой ненавистью, как к психиатрам, полагавшим, что со всей его сложной сутью можно разделаться несколькими иностранными словами, как будто это дело самое обыденное. Как всегда в таких случаях, медицинские заключения о его психическом состоянии шатались под нажимом вышестоящего мира юридических представлений, и Моосбругер не упускал ни одной из этих возможностей публично доказать на суде свое превосходство над психиатрами и разоблачить их как самодовольных тупиц и обманщиков, которые ни в чем не смыслят и посадили бы его, если бы он симулировал, в сумасшедший дом, вместо того чтобы

отправить в тюрьму, где ему действительно место. Ибо он не отрицал своих преступлений, он хотел, чтобы на них смотрели как на катастрофы грандиозного мировосприятия. Хихикающие бабы были первыми в заговоре против него; у всех у них имелись ухагеры, а прямое слово серьезного человека они ни во что не ставили или даже принимали за оскорбление. Он избегал их, пока мог, чтобы не раздражаться, но не всегда это удавалось. Бывают дни, когда у мужчины одна дурь в голове и он ни за что не может взяться, потому что у него от беспокойства потеют руки. И если тогда поддашься, то можешь быть уверен, что и шагу не сделаешь, как вдали уже, словно дозор, высланный вперед врагами, замаячит такая ходячая отравка, обманщица, которая втайне высмеивает мужчину, ослабляя его и ломая перед ним комедию, а то и еще куда хуже обижая его по своей бессовестности!

Вот так и надвинулся конец той ночи, ночи, безучастно проведенной в пьяной компании с великим шумом, чтобы утихомирить внутреннюю тревогу. Даже когда ты не пьян, мир бывает ненадежен. Стены улиц колышутся, как кулисы, за которыми что-то ждет определенной реплики, чтобы выйти на сцену. На краю города, где начинается широкое, освещенное лунной полем, становится спокойнее. Там Моосбругеру пришлось повернуть, чтобы найти окольный путь домой, и тут-то, у железного моста, к нему пристала эта девчонка. Она была из тех, что нанимаются к мужчинам, внизу, на пойменных лугах, какая-нибудь сбежавшая служанка без места, коротышка, видны были только два завлекающих мышинных глаза из-под платка. Моосбругер отверг ее и ускорил шаг; но она стала клянчить, чтобы он взял ее к себе домой. Моосбругер продолжал шагать – прямо, за угол, наконец беспомощно взад и вперед; он делал большие шаги, и она бежала с ним рядом; он останавливался, и она стояла, как тень. Он тянул ее за собой, вот в чем была штука. Тогда он сделал еще одну попытку ее прогнать: он повернулся и плюнул ей дважды в лицо. Но это не помогло; она была неуязвима.

Случилось это в отдаленном парке, который им нужно было пересечь в самом узком его месте. Тут Моосбругер и решил, что у девчонки должен быть какой-нибудь защитник поблизости: иначе откуда бы взялась у нее смелость следовать за ним, несмотря на его неудовольствие? Он схватил лежавший у него в кармане штанов нож, потому что его хотели разыграть или, может быть, опять напасть на него: всегда ведь за бабами стоит другой мужчина, который над тобой насмеяется. Да и не показалась ли она ему вообще переодетым мужчиной? Он видел, как движутся тени, и слышал треск в кустах, а эта нахалка с ним рядом упорно, как маятник, повторяла свою просьбу снова и снова; но не было ничего, на что бы могла обрушиться его исполинская сила, и он начал бояться этого жуткого бездействия.

Когда они вошли в первую, еще очень мрачную улицу, лоб у него был в поту и он весь дрожал. Не оглядываясь по сторонам, он направился в кофейню, которая еще была открыта. Он выпил залпом чашку черного кофе и три рюмки коньяку и спокойно посидел, может быть, четверть часа; но когда он расплачивался, опять пришла мысль, что ему делать, если она поджидает его на улице. Есть такие мысли – как бечевки, опутывающие руки и ноги бесконечными петлями. И, не успев пройти несколько шагов по темной улице, он почувствовал, что она – рядом. Теперь она держалась совсем не смиренно, а дерзко и уверенно; и она уже не просила, а просто молчала. Тут он понял, что никогда от нее не избавится, потому что это он сам и тянул ее за собой. Слезливое отвращение наполнило ему глотку. Он шел, а это, наполовину позади него, было опять-таки им. В точности так, как всегда при встречах с процессиями. Однажды он сам вырезал у себя из ноги большую занозу, потому что у него не хватило терпения ждать врача; совершенно так же чувствовал он свой нож и сейчас – длинный и твердый, лежал он у него в кармане.

Но прямо-таки неземным напряжением своего сознания Моосбругер нашел еще один выход. За оградой, вдоль которой проходила теперь его дорога, была спортивная площадка; там тебя никто не увидит, и он свернул туда. Он улегся в тесной будке кассы, уткнувшись головой в угол, где было всего темнее; мягкое проклятое второе «я» улеглось рядом с ним.

Он притворился поэтом, что засыпает, чтобы потом улизнуть. Но когда он стал тихо, ногами вперед, выползая, оно опять было здесь и обвилось руками его шею. Тут он почувствовал что-то твердое в ее или в своем кармане; он извлек это наружу. Он не знал точно, были ли это ножницы или нож; он пырнул этим. Она утверждала, что это только ножницы, но это был его нож. Она упала головой в будку; он немного оттащил ее оттуда, на мягкую землю, и колотил ее до тех пор, пока совсем не отделил ее от себя. Потом он постоял рядом с ней еще, может быть, четверть часа и смотрел на нее, а ночь тем временем опять стала спокойнее и удивительно гладкой. Теперь она уже не могла обидеть мужчину и повиснуть у него на шее. Наконец он перенес труп через улицу и положил перед кустом, чтобы ее легче было найти и похоронить, как он утверждал, ибо теперь она уже была ни при чем.

При слушании дела Моосбругер уготовлял своему защитнику самые непредвиденные трудности. Он сидел на своей скамье развалившись, как зритель, кричал прокурору «браво», когда тот приводил какое-нибудь доказательство его социальной опасности, казавшееся ему, Моосбругеру, достойным его, и раздавал похвальные оценки свидетелям, которые заявляли, что никогда не замечали у него никаких признаков невменяемости. «Вы забавный субъект», – льстил ему время от времени руководивший слушанием дела судья и добросовестно стягивал петли, которыми обвиняемый себя опутал. Потом Моосбругер минуту стоял в удивлении, как затравленный на арене бык, скользил глазами по сторонам и видел по лицам сидевших вокруг то, чего он понять не мог, – что он вогнал себя в свою вину на пласт глубже.

Ульриха особенно привлекало то, что в основе самозащиты Моосбругера, несомненно, лежал какой-то смутно вырисовывавшийся план. Ни намерения убивать у него первоначально не было, ни больным он, дорожа своим достоинством, не позволял себе быть; о наслаждении вообще не могло идти речи, речь могла идти только об отвращении и презрении; преступление оказывалось, таким образом, непредумышленным убийством, к которому его побудило подзрительное поведение женщины, «этой карикатуры на женщину», как он выразился. Пожалуй, он требовал даже, чтобы на совершенное им убийство смотрели как на политическое преступление, и порой складывалось такое впечатление, что борется он вовсе не за себя, а за эту юридическую конструкцию. Тактика, применявшаяся против этого судья, была обычной – видеть во всем только неуклюже хитрые старания убийцы уйти от ответственности. «Почему вы вытерли окровавленные руки?» – «Почему выбросили нож?» – «Почему вы после убийства переменяли платье и белье?» – «Потому что было воскресенье? Не потому, что они были в крови?» – «Почему вы отправились развлекаться? Преступление, значит, не помешало вам? Чувствовали ли вы вообще раскаяние?»

Ульрих хорошо понимал глубокое смирение, с которым Моосбругер в такие минуты винил свое недостаточное образование, мешавшее ему распутать эту сплетенную из непонимания сеть, а на языке судьи это обозначалось иначе, и притом с уличающей интонацией: «Вы все время умудряетесь свалить вину на других!»

Этот судья сводил все воедино, исходя из полицейских протоколов и бродяжничества, и вменял это Моосбругеру в вину; а для Моосбругера все это состояло сплошь из отдельных случаев, ничего общего между собой не имевших и вызванных каждый своей причиной, которая находилась вне его, Моосбругера, где-то в самом устройстве мира. В глазах судьи его, Моосбругера, преступления исходили от него, а в его собственных они на него «находили», как налетают вдруг птицы. Для судьи Моосбругер был особым случаем; для себя же он был миром, а сказать что-либо убедительное о мире очень трудно. Было две тактики, которые боролись одна с другой, два единства и две последовательности, но Моосбругер был в невыгодном положении, ибо его странных, смутных мотивов не смог бы выразить и человек более умный. Они шли непосредственно от смятенного одиночества его жизни, и если все другие жизни существуют стократно, если они видятся одинаково и тем, кто их ведет, и всем другим, кто их подтверждает, то его подлинная жизнь существовала лишь для него самого. Это было дуновение,

которое непрестанно деформируется и меняет облик. Правда, он мог спросить своих судей – разве их жизнь по сути иная? Но этого у него и в мыслях не было. Все, что было так естественно в своей последовательности, лежало в нем перед правосудием в бессмысленном беспорядке, и он изо всех сил старался внести в это смысл, который ни в чем не уступал бы достоинству его благородных противников. Судья казался чуть ли не добрым в своих стараниях поддержать его в этом и предоставить в его распоряжение какие-то понятия, даже если то были понятия, которые оборачивались для Моосбругера самыми ужасными последствиями.

Это было как бой тени со стеной, и под конец тень Моосбругера только мучительно колыхалась. На этом последнем заседании Ульрих присутствовал. Когда председатель прочел заключение экспертизы, признавшее Моосбругера вменяемым, тот поднялся и объявил суду:

– Я удовлетворен и достиг своей цели.

Ответом ему было насмешливое недоверие в глазах окружающих, и он со злостью прибавил:

– В силу того, что я добился обвинения, я удовлетворен порядком представления доказательств и их оценки судом!

Председатель, который стал теперь олицетворением строгости и возмездия, сделал ему за это замечание, сказав, что суд не интересуется, удовлетворен он или нет, после чего прочитал ему смертный приговор, прочитал так, как если бы на вздор, который во время всего процесса говорил, к удовольствию публики, Моосбругер, надо было наконец ответить серьезно. На это Моосбругер ничего не сказал, чтобы не было впечатления, что он испугался. Затем заседание закрыли, и все кончилось. Но тут дух его все-таки дрогнул; он отшатнулся, бессильный перед высокомерием этих бестолковых людей; когда его уже выводили судебные надзиратели, он обернулся, начал искать слова, вытянул руки вверх и крикнул голосом, который страхивал понуканья его сторожей:

– Я этим удовлетворен, хотя и должен признаться вам, что вы осудили сумасшедшего!

Это была непоследовательность, но Ульрих сидел не дыша. Это было явно сумасшествие, и столь же явно это была лишь искаженная связь наших собственных элементов бытия. Оно было разорвано на куски и пронизано мраком: но Ульриху почему-то подумалось: если бы человечество, как некое целое, могло видеть сны, возник бы, наверно, Моосбругер. Он отрезвел лишь тогда, когда «жалкий шут адвокатишка», как обозвал того однажды в ходе процесса неблагодарный Моосбругер, подал из-за каких-то частных кассационную жалобу, а великана, его – и Ульриха – подзащитного, уже увели.

## 19. Увещевание письмом и случай приобрести свойства. Конкуренция двух вступлений на престол

Так проходило время, и однажды Ульрих получил письмо от отца.

«Дорогой мой сын! Минуло уже опять несколько месяцев, а из твоих скупых сообщений по-прежнему не видно, чтобы ты сделал хоть небольшой шаг вперед в своей карьере или готовился таковой сделать.

С радостью признаю, что в течение последних лет мне выпадало удовольствие слышать, как разные уважаемые лица хвалят твои успехи и прочат тебе, на их основании, большое будущее. Но, с одной стороны, твоя, не от меня, конечно, унаследованная склонность сперва рьяно браться за решение привлечшей тебя задачи, а потом словно бы забывать свой долг перед собой и перед теми, кто возлагает на тебя надежды, с другой стороны, то обстоятельство, что в твоих сообщениях я не нахожу ни малейшего указания на какой-либо план твоих дальнейших действий, наполняют меня тяжелой тревогой.

Мало того, что ты уже в том возрасте, когда другие мужчины успевают создать себе прочное положение в жизни, я в любой час могу умереть, а состояние, которое я оставлю, разделив его поровну между тобой и сестрой, будет хоть и немалым, но не настолько по нынешним временам и большим, чтобы одно только обладание им обеспечило тебе какое-то общественное положение, которого ты, стало быть, должен добиться наконец сам. Мысль, что с тех пор, как ты стал доктором, ты лишь в очень неясной форме говоришь о планах, простирающихся на самые разные области и тобою, вероятно, по твоему обыкновению, сильно переоцениваемых, но никогда не пишешь ни об удовлетворении, которое доставила бы тебе преподавательская деятельность, ни о вступлении ради подобных планов в контакт с каким-либо университетом, ни вообще о связях с влиятельными кругами, – вот что наполняет меня порою тяжелой тревогой. Меня, человека, который сорок семь лет назад в своем известном тебе и выходящем ныне двенадцатым изданием труде «Учение Самуэля Пуфендорфа о вменяемости и современное правоведение», выявив истинные связи вещей, первый порвал в этом вопросе с предрассудками старой школы уголовного права, – меня вряд ли можно заподозрить в недооценке научной самостоятельности, но в то же время, имея за собой опыт большой трудовой жизни, я не могу согласиться с тем, кто рассчитывает лишь на себя самого, пренебрегая научными и светскими связями, которые только и вводят труд одиночки в плодотворную и полезную колею.

Поэтому я твердо надеюсь услышать о тебе вскорости и найти расходы, сделанные мною для твоего продвижения, вознагражденными тем, что теперь, по возвращении на родину, ты завяжешь такие связи и не будешь ими долее пренебрегать. Я написал в этом же смысле своему многолетнему верному другу и покровителю, бывшему президенту Счетной палаты и нынешнему председателю юридического августейшей фамилии партикуляритета при ведомстве гофмаршала его превосходительству графу Штальбургу и попросил его благосклонно отнестись к твоей просьбе, с которой ты в скором времени обратишься к нему. Мой высокопоставленный друг уже сообразовал немедленно мне ответить, и, на твое счастье, он не только примет тебя, но и проявит живой интерес к твоим делам, как я описал их. Тем самым, насколько это в моих силах и насколько я могу судить, твое будущее обеспечено – при условии, что ты сумеешь расположить к себе его превосходительство и одновременно укрепить свою репутацию во влиятельных академических кругах.

Что же касается просьбы, которую ты, конечно, с радостью доложишь его превосходительству, как только узнаешь, о чем идет речь, то суть ее такова.

В 1918 году, приблизительно 15.VI, в Германии должно состояться пышное, способное запечатлеть в памяти мира величие и мощь Германии празднование тридцатилетия правления императора Вильгельма II; хотя впереди еще несколько лет, из надежного источника известно,

что готовятся к юбилею – пока, разумеется, совершенно неофициально – уже сегодня. Ты, вероятно, знаешь, что в том же году празднует семидесятилетие своего вступления на престол наш достопочтенный император и что дата эта приходится на 2-е декабря. При чрезмерной скромности, проявляемой нами, австрийцами, во всех вопросах, касающихся нашего собственного отечества, можно опасаться, что мы получим, позволю себе сказать, еще один Кёниггрец<sup>6</sup>, то есть что немцы с их целенаправленной методичностью снова опередят нас, подобно тому как тогда они взяли на вооружение игольчатое оружие, прежде чем мы успели опомниться.

К счастью, опасение, мною только что высказанное, уже предвосхищено другими патристически настроенными лицами с хорошими связями, и могу сказать тебе по секрету, что в Вене начата акция, имеющая целью помешать оправдаться этому опасению и выставить полновесность богатого успехами и заботами семидесятилетия в более выгодном свете, чем юбилей всего лишь тридцатилетний. Ввиду того, что 2.XII никак, естественно, нельзя поставить впереди 15.VI, возникла счастливая мысль сделать весь 1918 год юбилейным годом нашего императора-миротворца. Я, правда, информирован об этом лишь постольку, поскольку учреждения, к которым я принадлежу, имели возможность высказать свою точку зрения на эту инициативу, подробности ты узнаешь сам, когда явишься к графу Штальбургу, который предназначил для тебя в подготовительном комитете почетное при твоей молодости место.

Настоятельно советую тебе также не избегать долее, как ты до сих пор это делал, к истинному моему огорчению, давно уже рекомендованного мною знакомства с семьей начальника отдела Туцци из министерства иностранных дел и императорского дома, а тотчас же засвидетельствовать свое почтение его супруге, доводящейся, как ты знаешь, дочерью двоюродному брату жены моего умершего брата и, стало быть, кузиной тебе, ибо она, по моим сведениям, занимает видное положение в проекте, который я тебе только что описал, а мой досточтимый друг, граф Штальбург, уже с чрезвычайной любезностью предупредил ее о твоём визите, в силу чего ты должен нанести его безотлагательно.

О себе ничего более сообщить не могу; работа над переизданием моей вышеупомянутой книги отнимает помимо лекций все мое время и все силы, какие еще остаются на старости лет. Надо с пользой употреблять свое время, ибо оно коротко.

О твоей сестре знаю только, что она здорова; у нее есть дельный и заботливый муж, хотя она никогда не признается, что довольна своим жребием и чувствует себя счастливой.

Тебя благословляет любящий тебя

*Отец».*

---

<sup>6</sup> В 1866 г. при Кёниггреце прусская армия одержала победу над австро-венгерской.

## Часть вторая. Происходит все то же

### 20. Соприкосновение с реальностью. Несмотря на отсутствие свойств, Ульрих действует энергично и пылко

Не последней среди причин, по которым он и в самом деле решил нанести визит графу Штальбургу, было охватившее Ульриха любопытство.

Граф Штальбург служил в кайзеровском и королевском дворце, а старый кайзер и король Какании был фигурой мифической. С тех пор-то о нем написано много книг, и теперь точно известно, что он сделал, чему помешал и чего не сделал, но тогда, в последнее десятилетие его жизни и жизни Какании, у людей молодых, не отстававших от современного уровня наук и искусств, иногда возникало сомнение в том, что он вообще существует на свете. Число его вывешенных и выставленных повсюду портретов было почти столь же велико, как число жителей его владений; в его день рождения съедалось и выпивалось столько же, сколько в день рождения Спасителя, на горах пылали костры, и голоса миллионов людей уверяли, что они любят его как отца; песня, сложенная в его честь, была, наконец, единственным поэтическим и музыкальным произведением, одну строчку которого знал каждый каканец, – но эти популярность и слава были настолько свехубедительны, что с верой в него дело обстояло примерно так же, как со звездами, которые видны и через тысячи лет после того, как перестали существовать.

Первым происшествием на пути Ульриха в императорский дворец было то, что экипаж, который должен был доставить его туда, остановился уже во внешнем дворе крепости и кучер потребовал, чтобы с ним здесь расплатились, ибо он, по его утверждению, имел лишь право сквозного проезда, но не имел права останавливаться во дворе внутреннем. Ульрих разозлился на кучера, приняв его за обманщика или за труса, и попытался заставить его поехать дальше; но, так и не сумев одолеть его боязливую непреклонность, он вдруг почувствовал в ней излучение силы, которая была могущественней, чем он. Когда он вступил во внутренний двор, в глаза ему сразу бросилось множество красных, синих, белых и желтых мундиров, штанов и султанов, которые стояли там неподвижно на солнце, как птицы на песке отмели. До сих пор он считал «его величество» просто неотменным словесным штампом, точно таким же, как «слава богу» в устах атеиста; а теперь взгляд его скользил вверх по высоким стенам, и он видел перед собой серый, замкнутый и вооруженный остров, мимо которого отрешенно мчался город на всех своих скоростях.

Его повели, после того как он изложил свое дело, по лестницам и коридорам, через комнаты и залы. Хотя одет он был очень хорошо, он чувствовал, что каждый встречный взгляд оценивает его совершенно правильно. Здесь никто, казалось, не мог спутать духовный аристократизм с аристократизмом истинным, и удовлетворяться Ульриху оставалось лишь ироническим протестом да буржуазной критикой. Он заметил, что проходит через большую коробку, почти ничем не наполненную; залы были почти без мебели, но во вкусе этой пустоты не было горечи грандиозности; он проходил мимо неплотной цепи стоявших порознь гвардейцев и слуг, составлявших скорее неуклюжую, чем пышную охрану, задачи которой выполнили бы с большим успехом полдюжины хорошо оплачиваемых и хорошо обученных детективов; а разновидность слуг, слонявшихся между лакеями и стражами и совсем уж похожих своим серым платьем и серыми шапочками на рассыльных из банка, заставила его подумать об адвокате или зубном враче, живущем без достаточной изоляции между кабинетом и частной квартирой. «Ясно чувствуешь, – думал он, – как все это могло казаться роскошью и внушать робость человеку эпохи бидермейера, но сегодня это не выдерживает сравнения даже с красотой и

удобством какого-нибудь отеля и потому прикидывается олицетворением аристократической сдержанности и чопорности».

Но когда он вошел к графу Штальбургу, его превосходительство принял его в большой пустой призме прекрасных пропорций, в середине которой этот невзрачный, лысоголовый человек, слегка наклонившись вперед и по-обезьяньи подогнув колени, стоял перед ним в таком виде, какой высокий придворный чин из аристократической семьи если и может принять, то никак не самопроизвольно, а только в подражание чему-то; плечи свисали у него вперед, а губы вниз; он походил на старого служителя при каком-нибудь учреждении или на добропорядочного счетовода. И вдруг не осталось никакого сомнения в том, кого он напоминал; граф Штальбург стал прозрачен, и Ульрих понял, что человек, являющий собой уже семьдесят лет Высочайшее Средоточие высшей власти, должен находить известное удовлетворение в том, чтобы прятаться за себя самого и выглядеть так, как нижайший из его подданных, вследствие чего становится просто правилом хорошего тона и естественной формой скромности вблизи этого высочайшего лица не иметь более личной наружности, чем оно. В этом, по-видимому, и состоял смысл того, что короли так любили называть себя первыми слугами своего государства, и, бросив быстрый взгляд, Ульрих убедился в том, что его превосходительство и впрямь носило те седые, короткие бакенбарды при выбритом подбородке, которые имелись в Какании у всех швейцаров и железнодорожных проводников. Считалось, что они подражали внешностью своему кайзеру и королю, но более глубокая потребность основана в таких случаях на взаимности.

Ульрих успел все это обдумать, потому что ему пришлось немного подождать, прежде чем его превосходительство обратилось к нему. Инстинктивная актерская страсть к переодеванию и перевоплощению, принадлежащая к радостям жизни, предстала перед ним без малейшего привкуса, без всякой даже, пожалуй, мысли об актерстве – в настолько чистом виде, что буржуазный обычай строить театры и делать из лицедейства искусство, которое нанимают за почасовую плату, показался ему по сравнению с этим бессознательным, постоянным искусством самоизображения чем-то совершенно неестественным, поздним и раздвоенным. И когда его превосходительство отделило наконец одну губу от другой и сказало ему: «Ваш любезный батюшка...» – и тут же запнулось, а в голосе все-таки было что-то, заставившее заметить на редкость красивые желтоватые руки графа и почувствовать какую-то напряженную нравственность во всем его облике, Ульрих нашел это очаровательным и совершил ошибку, которую легко совершают люди умственные. Его превосходительство спросило его затем, кто он по образованию, и сказало: «Так, очень интересно, в какой школе?», когда Ульрих ответил, что он математик; а когда Ульрих заявил, что никакого отношения к школе он не имеет, его превосходительство сказало: «Так, очень интересно, понимаю, наука, университет». И это показалось Ульрику настолько знакомым, настолько соответствующим представлению о светской беседе, что он вдруг повел себя так, словно был здесь у себя дома, и повиновался своим мыслям, а не социальным требованиям данной ситуации. Он внезапно подумал о Моосбругере. Власть, нужная для помилования, была здесь рядом, и ему показалось, что нет ничего проще, чем попытаться ею воспользоваться.

– Ваше превосходительство, – спросил он, – нельзя ли мне обратить этот благоприятный случай на пользу человеку, который несправедливо приговорен к смертной казни?

При этом вопросе граф Штальбург вытаращил глаза.

– Правда, человек этот убийца-садист, – признал Ульрих, но в этот момент понял и сам, что ведет себя неподобающе. – Душевнобольной, конечно, – поспешил он поправиться и чуть было не прибавил: «Вы, ваше превосходительство, знаете, что в этом пункте наше законодательство осталось в середине прошлого века», – но осекся и застрял.

Это был промах – навязывать этому человеку дискуссию, в какие часто совершенно без пользы пускаются люди, неравнодушные к умственным фокусам. Несколько таких слов, если

их вставить умело, могут быть плодородны, как рыхлая земля сада, но в этом месте они походили на кучку земли, оплошно оставленную в комнате чьими-то башмаками. Но тут, заметив его смущение, граф Штальбург проявил и в самом деле большую доброжелательность к нему.

– Да, да, припоминаю, – сказал он с некоторым усилием, после того как Ульрих назвал фамилию Моосбругера, – и вы, значит, говорите, что это душевнобольной, и хотели бы ему помочь?

– Он не виноват.

– Да, это всегда особенно неприятные дела. – Граф Штальбург, казалось, очень страдал от их трудности.

Он бросил на Ульриха безнадежный взгляд и спросил его, словно ничего другого ожидать и нельзя было, окончательно ли уже осужден Моосбругер. Ульриху пришлось ответить, что нет.

– Ах, вот так, – продолжил граф облегченно, – тогда еще есть время, – и принялся говорить о папе, оставив дело Моосбругера в приятной неясности.

Из-за своего промаха Ульрих на мгновение растерялся, но, как ни странно, эта ошибка не произвела на его превосходительство плохого впечатления. Сначала, правда, граф Штальбург чуть не потерял дар речи, как если бы в его присутствии сняли пиджак; но затем эта непосредственность в человеке с такой хорошей рекомендацией показалась ему энергичной и пылкой, и он был рад, что нашел эти два слова, ибо ему хотелось составить себе хорошее впечатление. Он тотчас же вписал их («Мы смеем надеяться, что нашли энергичного и пылкого помощника») в рекомендательное письмо, адресованное главному лицу великой отечественной акции. Получив через несколько мгновений это послание, Ульрих показался себе ребенком, которому на прощание суют шоколадку в ручку. Он действительно уходил не с пустыми руками и получил указания насчет следующего визита, которые могли быть в одинаковой мере поручением и просьбой, и не представлялось никакой возможности что-либо возразить. «Это же недоразумение, у меня же не было ни малейшего намерения...» – хотелось ему сказать, но он уже был на обратном пути через просторные коридоры и залы. Он вдруг остановился и подумал: «Меня ведь подняло, как пробку, и метнуло куда-то, куда меня совсем не тянуло!» И с любопытством окинул взглядом коварную простоту интерьера. Он мог спокойно сказать себе, что и теперь она не производит на него никакого впечатления; это был просто мир, который не вывели прочь. Но какое сильное, странное свойство заставил он, этот мир, его почувствовать? Черт возьми, это нельзя было, пожалуй, выразить иначе: мир этот был просто на диво реален.

## 21. Истинное изобретение параллельной акции графом Лейнсдорфом

Подлинной движущей силой великой патриотической акции – которая впредь, сокращения ради и потому что она должна была «выставить полновесность богатого успехами и заботами семидесятилетия в более выгодном свете, чем юбилей всего лишь тридцатилетний», будет именоваться также параллельной акцией, – был, однако, не граф Штальбург, а друг Штальбурга, его сиятельство граф Лейнсдорф. В то время, как Ульрих совершал свой визит во дворец, в прекрасном, с высокими окнами кабинете этого вельможи – среди множества слоев тишины, подобострастия, золотых галунов и торжественности славы – стоял секретарь с книгой в руке и вычитывал оттуда его сиятельству место, которое ему, секретарю, поручено было найти. На сей раз это был пассаж из Иоганна Готлиба Фихте, добытый в «Речах к германской нации» и сочный весьма подходящим. «Для освобождения от первородного греха косности, – читал он, – и его последствий, трусости и лживости, люди нуждаются в моделях, демонстрирующих им загадку свободы, каковые и возникли у них в лице основателей религий. Необходимое согласие относительно нравственных убеждений достигается в церкви, в символах которой следует видеть не предмет изучения, а лишь средство обучения для провозглашения вечных истин». Он выделил голосом слова *косности, демонстрирующих и церкви*, его сиятельство слушало благосклонно, попросило показать ему книгу, но потом покачало головой.

– Нет, – сказал подчиненный непосредственно императору граф, – книга сошла бы, но этот протестантский пассаж с церковью не годится!

Секретарь пригорюнился, как мелкий чиновник, чей проект документа в пятый раз отвергает начальство, и осторожно вернул:

– Но на национальные круги Фихте произвел бы отличное впечатление.

– Я думаю, – возразило его сиятельство, – что пока нам придется от этого отказаться.

Одновременно с книгой захлопнулось и его лицо, одновременно с этим безмолвно повелевавшим лицом захлопнулся, согнулся пополам в покорном поклоне и секретарь, после чего принял из рук его сиятельства Фихте, чтобы убрать его и поставить на место в соседнем библиотечном зале среди всех других философских систем мира; кухонными делами не занимаешься сам, а поручаешь их своим людям.

– Останемся, стало быть, пока, – сказал граф Лейнсдорф, – при наших четырех пунктах: император-миротворец, вежа в истории Европы, истинная Австрия, а также собственность и образованность. Составляйте циркуляр по этим наметкам.

Его сиятельство осенила сейчас одна политическая мысль, и словами ее можно было выразить примерно так: они придут сами! Он имел в виду те круги своего отечества, которые чувствовали себя принадлежащими таковому меньше, чем германской нации. Они были ему неприятны. Найди секретарь более подходящую цитату, чтобы польстить их чувствам (для чего и понадобился Иоганн Готлиб Фихте), она была бы приведена; но сейчас, когда неудобная частность помешала этому, граф Лейнсдорф облегченно вздохнул.

Его сиятельство был изобретателем великой отечественной акции. Когда из Германии пришли эти волнующие новости, у него прежде всего мелькнуло слово «миротворец». Он сразу связал с ним представление о восьмидесятивосьмилетнем властителе, подлинном отце своих народов, и о непрерывном семидесятилетнем правлении. Обе эти идеи были, конечно, отмечены знакомыми ему чертами его августейшего повелителя, но блеск славы исходил тут не от его величества, а от того гордого факта, что его, графа, отечество обладало старейшим и дольше всех в мире правившим государем. Люди недалекие поспешили бы усмотреть в этом лишь слабость к раритетам (как если бы, например, обладание куда более редкой поперечно-полосатой «сахарой» с водяным знаком и недостающим зубцом граф Лейнсдорф ста-

вил выше, чем обладание подлинным Эль Греко, что он, кстати, и делал, хотя обладал тем и другим и не совсем пренебрегал знаменитым собранием картин в своем доме), но потому что они и недалекие, что не понимают, насколько символ богаче и сильнее, чем даже самое большое богатство. Старый властитель символически заключал в себе для графа Лейнсдорфа одновременно и его отечество, которое он любил, и мир, которому оно должно было служить примером. Большие и мучительные надежды обуревали графа Лейнсдорфа. Он не мог бы сказать, была ли это главным образом боль за отечество, занимавшее, как он видел, не совсем то почетное место «в семье народов», что ему подобало, или же источником его волнений была ревность к Пруссии, столкнувшейся с этого места Австрию (в 1866 году, вероломным образом!), или же он был просто полон гордости за аристократию старого государства и желания доказать ее образцовость; по его мнению, все народы Европы затачивало в пучину материалистической демократии, и ему мерещился некий величественный символ, который был бы для них одновременно напоминанием и предостережением. Ему было ясно, что должно что-то произойти, что поставило бы Австрию впереди всех, чтобы это «блестящее свидетельство жизненной силы Австрии» стало «вехой» для всего мира, помогло ему вновь обрести истинную свою сущность, и что все это связано с наличием восьмидесятывосьмилетнего императора-миротворца. Ничего больше, ни точнее, ни подробнее, граф Лейнсдорф и в самом деле еще не знал. Но не подлежало сомнению, что его осенила великая мысль. Она не только разожгла его страсть, – к чему христианин, воспитанный в строгости и чувстве ответственности, как-никак не возымел бы доверия, – нет, эта мысль с полнейшей очевидностью вливалась непосредственно в такие величественные, сияющие идеи, как идея властителя, отечества и всемирного счастья. А если у этой мысли и были еще неясные, темные стороны, то они не тревожили его сиятельство. Его сиятельство прекрасно знал богословское учение о *contemplatio in caligine divina*, то есть о созерцании в божественной темноте, которая сама по себе бесконечно ясна, но для человеческого разума беспросветна и непроглядна, да и вообще он жил в убеждении, что человек, делающий великое дело, обычно не знает, почему он его делает; сказал ведь Кромвель: «Никогда человек не продвигается дальше, чем тогда, когда он не знает, куда идет!» Граф Лейнсдорф, таким образом, с удовлетворением наслаждался своим символом, неопределенность которого волновала его, как он чувствовал, сильнее, чем любые определенности.

Если же отвлечься от символов, то его политические взгляды отличались чрезвычайной твердостью и той свойственной широким натурам свободой, которая возможна лишь при полном отсутствии сомнений. Как владелец майората, он был членом верхней палаты, но не проявлял политической активности и не занимал ни придворных, ни государственных постов; он был «всего лишь патриот». Но именно благодаря этому и благодаря своему независимому богатству он стал центральной фигурой среди всех других патриотов, озабоченно следивших за развитием империи и человечества. Жизнь его шла под знаком этического долга не быть равнодушным зрителем, а «подавать сверху руку помощи» процессу развития. Насчет «народа» он был убежден, что тот «добр»; поскольку от графа зависели не только многочисленные его служащие, работники и слуги, но и материальное положение бесчисленного множества людей, узнать о народе еще что-либо он не имел случая, кроме воскресений и праздников, когда народ валит из-за кулис приветливо-пестрой толпой, как оперный хор. Все, что не отвечало этому представлению, он возводил поэтому к «подстрекательским элементам» и считал делом безответственных, незрелых и жадных до сенсаций людишек. Воспитанный в религиозном и феодальном духе, надежно застрахованный от всякого прекословия при общении с не-дворянами, довольно начитанный, но, по милости церковной педагогики, оберегавшей его юность, пожизненно неспособный найти в книге ничего, кроме совпадения со своими собственными принципами или ошибочного отступления от них, он знал мировосприятие людей современных только по парламентским и газетным баталиям; а так как у него хватало образованности, чтобы увидеть всю их поверхностность, он ежедневно утверждался в своем предрассудке, что истин-

ный, глубоко понятый буржуазный мир есть не что иное, чем то, что он, граф Лейнсдорф, сам о нем думает. Словечко «истинный» в приложении к политическим убеждениям было вообще одним из его вспомогательных средств для ориентировки в созданном Богом, но слишком уж часто отрекавшемся от него мире. Граф был твердо убежден, что даже истинный социализм согласуется с его взглядами; более того, изначально это было самой сокровенной его идеей, которую он даже от самого себя частично скрывал, – навести мост для перехода социалистов в его лагерь. Ясно ведь, что помогать бедным – задача рыцарская и что для истинной знати не так уж, собственно, велика разница между буржуа-фабрикантом и его рабочим; «мы ведь все в глубине души социалисты» было его любимой фразой, а означало это примерно то же, не больше, как если бы сказать, что на том свете нет социальных различий. В мире, однако, он считал их необходимым фактом и ожидал от рабочего класса, что он, если только пойдут ему навстречу в вопросах материального благосостояния, откажется от неразумных, навязанных ему лозунгов и согласится с естественным мироустройством, где каждый находит свой долг и свое благо в назначенном ему кругу. Истинный дворянин представлялся ему поэтому столь же важной фигурой, как истинный ремесленник, и решение политических и экономических вопросов сводилось для него, собственно, к некоему гармоническому видению, которое он именовал отечеством.

Его сиятельство не смог бы назвать, о чем из этого думал он в ту четверть часа, что миновала после ухода его секретаря. Может быть, обо всем. Среднего роста человек лет шестидесяти сидел неподвижно за своим письменным столом, скрестив руки на животе, и не знал, что он улыбается. Он носил низкий воротничок, потому что у него намечался зуб, и бородку клином то ли по этой же причине, то ли потому, что так он немного напоминал портреты богемских аристократов времен Валленштейна. Его обступала высокая комната, а ее, в свою очередь, окружали большие пустые помещения передней и библиотеки, вокруг которых, оболочка за оболочкой, располагались другие покои, тишина, подобострастие, торжественность и венец двух размашистых каменных лестниц; там, где эти последние втекали в подъезд, стоял в тяжелой, отягощенной галунами шинели, с жезлом в руке рослый привратник, он вглядывался сквозь проем арки в светлую жидкость дня, и пешеходы проплывали мимо словно в аквариуме. По границе двух этих миров вились вверх игривые лозы фасада рококо, знаменитого среди искусствоведов не только своей красотой, но и тем, что высота его была больше, чем ширина; он слышет ныне первой попыткой натянуть кожу широко и удобно раскинувшегося сельского замка на остов городского дома, вымахавший на утесненном по-бюргерски плане, и в силу этого одним из важнейших переходов от феодально-помещичьего размаха к буржуазному демократизму. Здесь, по свидетельству искусствоведения, бытие Лейнсдорфов переходило в мировой дух. Но кто этого не знал, тот видел это не в большей мере, чем видит стену желоба скользящая по ней капля; он замечал только мягкий сероватый проем ворот в сплошной улице, неожиданное, почти волнуемое углубление, в полости которого поблескивали золото галунов и большого набалдашника на жезле швейцара. В хорошую погоду этот швейцар выходил к воротам; тогда он стоял возле них как пестрый, издалека видный драгоценный камень, вкрапленный в шеренгу домов, которой никто не замечает, хотя только их стены и поднимают кишеньные бесчисленной и безымянной толпы на уровень порядка. Можно держать пари, что изрядная часть «народа», чей порядок озабоченно и неусыпно оберегал граф Лейнсдорф, не связывала с его именем, если оно упоминалось, ничего, кроме воспоминания об этом швейцаре.

Но его сиятельство не усмотрел бы в этом никакого для себя ущемления; обладание подобными швейцарами представилось бы ему скорее уж той «истинной самоотверженностью», которая подобает аристократу.

## **22. Приняв обличье влиятельной дамы неописуемого интеллектуального обаяния, параллельная акция готова проглотить Ульриха**

Этого графа Лейнсдорфа должен был, по желанию графа Штальбурга, посетить Ульрих, но он решил не посещать его; зато он положил себе нанести рекомендованный отцом визит своей «великой кухне», потому что ему важно было увидеть ее воочию. Он ее не знал, но уже некоторое время испытывал к ней какую-то особую неприязнь, потому что люди, знавшие об их родстве и желавшие ему добра, не раз советовали: «Именно вам следует познакомиться с этой женщиной!» При этом всегда делалось то особое ударение на слове «вам», которое, желая подчеркнуть, что данное лицо как нельзя более способно оценить такую жемчужину, может в равной мере означать искреннюю лесть и прятать убежденность, что ты-то как раз и подходящий для такого знакомства болван. Поэтому он уже неоднократно наводил справки об особых свойствах этой женщины, но никогда не получал удовлетворительного ответа. Отвечали либо: «В ней есть какое-то неописуемое интеллектуальное обаяние», либо: «Она у нас самая красивая и самая умная женщина», а иные говорили просто: «Она идеальная женщина!» «Сколько же лет этой особе?» – спрашивал Ульрих, но никто этого не знал, и спрошенный обычно удивлялся, что сам никогда не задавал себе такого вопроса. «А кто, собственно, ее возлюбленный? – нетерпеливо спросил наконец Ульрих. – Известна ли за ней какая-нибудь связь?» Отнюдь не неопытный молодой человек, к которому он обратился с такими словами, был поражен. «Вы совершенно правы. Никто этого не мог бы предположить».

«Стало быть, высокоумная красавица, – сказал себе Ульрих, – вторая Диотима». И с этого дня он стал мысленно называть ее так, по имени знаменитой учительницы любви.

В действительности же ее звали Эрмелинда Туцци, а по правде и просто Термина. «Эрмелинда», спору нет, вовсе даже не перевод «Термины», но право на это красивое имя она получила однажды благодаря интуиции, ибо оно внезапно предстало высшей правдой внутреннему ее слуху, хотя супруг ее по-прежнему звался Гансом, а не Джованни и, несмотря на свою фамилию, выучил итальянский язык лишь в консульской академии. Против этого начальника отдела Туцци Ульрих был не меньше предубежден, чем против его супруги. В министерстве, которое, именуясь министерством иностранных дел и императорского дома, отличалось еще более феодальными нравами, чем другие правительственные учреждения, Туцци был единственным высокопоставленным чиновником буржуазного происхождения, он заведовал там важным отделом, считался правой рукой, а по слухам, даже и головой своих министров и принадлежал к тем немногим, кто имел влияние на судьбы Европы. Но если в столь гордом соседстве буржуа достигает такого высокого положения, то это дает основания заключить, что он обладает свойствами, выгодно соединяющими личную незаменимость с умением скромно отступить на задний план, и Ульрих был недалек от того, чтобы представлять себе этого влиятельного начальника отдела подобием аккуратного кавалерийского унтера, которому приходится командовать высокородными одногодичниками. Подходящим дополнением к такому образу была спутница жизни, которую Ульрих, несмотря на дифирамбы ее красоте, рисовал себе немолодой, честолюбивой и затянутой в буржуазный корсет образованности.

Но Ульрих сильно обманулся в своих ожиданиях. Когда он явился с визитом, Диотима встретила его со снисходительной улыбкой значительной женщины, которая знает, что она к тому же красива и должна прощать поверхностным мужчинам тот факт, что они всегда думают об этом в первую очередь.

– Я ждала вас, – сказала она, и Ульрих не понял толком, любезность ли это или упрек. Рука, которую она ему подала, была полная и невесомая.

Он задержал ее чуть дольше, чем полагалось, его мысли не смогли сразу отделиться от этой руки. Как толстый лепесток лежала она в его руке; острые ногти, как надкрылья, способны были, казалось, в любой момент улететь вместе с ней в невероятное. Его потрясла экстравагантность женской руки, довольно, в сущности, бесстыдного органа человеческого тела, который ощупывает все, как собачья морда, но считается средоточием верности, благородства и нежности. В эти секунды он обнаружил, что шея Диотимы изобилует желваками, обтянутыми нежнейшей кожей; волосы ее были закручены в греческий узел, который упрямо оттопыривался и в своем совершенстве походил на осиное гнездо. Ульрих почувствовал, что его одолевает какая-то враждебность, желание возмутить эту улыбающуюся женщину, но он не смог совсем отрешиться от красоты Диотимы.

Диотима тоже глядела на него долго и почти испытующе. Она кое-что слышала об этом кузене, что-то слегка отдававшее, на ее слух, скандалом в личных делах, и к тому же этот человек был с нею в родстве. Ульрих заметил, что и она не может вполне отрешиться от физического впечатления, которое он на нее произвел. Он к этому привык. Он был гладко выбрит, высокого роста, хорошо тренирован и гибко-мускулист, лицо его было ясно и непроницаемо; одним словом, он сам себе казался порой предрассудком, складывающимся насчет импозантного и еще совсем молодого человека у большинства женщин, только он не всегда находил в себе силу вовремя вывести их из заблуждения. Диотима, однако, защищалась тем, что умом жалела его. Ульрих видел, что она долго его разглядывала, явно не испытывая при этом неприятных чувств, но, возможно, говоря себе, что благородные свойства, которые в нем так заметно о себе заявляли, по всей вероятности, подавлены скверной жизнью и должны быть спасены. Хотя она была не намного моложе, чем Ульрих, и пребывала в полном физическом расцвете, в духовном смысле от ее внешности исходило что-то незавершенно-девическое, странно противоречившее ее самоуверенности. Так продолжали они друг друга разглядывать, уже вступив в разговор.

Диотима начала с того, что объявила параллельную акцию прямо-таки неповторимой возможностью осуществить то, что представляется самым важным и самым великим.

– Мы должны и хотим осуществить величайшую идею. У нас есть такая возможность, и мы не вправе ее упускать.

Ульрих наивно спросил:

– Вы имеете в виду что-то определенное?

Нет, Диотима не имела в виду чего-то определенного. Да и как она могла иметь! Никто ведь, когда говорит о самом великом и самом важном в мире, не думает, что оно действительно существует на свете. Но какому странному свойству мира это равносильно? Все сводится к тому, что что-то одно больше, важнее, или прекраснее, или печальнее, чем что-то другое, то есть к некоей иерархии, к некоей сравнительной степени – и при всем при том нет, значит, никакой вершины, никакого суперлатива? Если, однако, укажешь на это кому-нибудь, кому хочется говорить как раз о самом важном и самом великом, то он заподозрит в тебе человека бесчувственного и лишенного идеалов. Так оно и случилось с Диотимой, и таковы были слова Ульриха.

Как женщина, чьим умом восхищались, Диотима нашла, что возражение Ульриха непочтительно. Помедлив, она улыбнулась и ответила:

– Есть столько великих и добрых идей, еще не осуществленных, что выбор будет нелегким. Но мы создадим комитеты во всех слоях населения, которые окажут нам помощь. Или вы, господин фон..., не считаете огромным преимуществом такой повод призвать нацию, да, собственно, и весь мир, вспомнить среди материалистической суеты о духовных ценностях? Не думайте, что мы стремимся к чему-то патриотическому в давно устаревшем смысле.

Ульрих отделался шуткой.

Диотима не стала смеяться; она только улыбнулась. Она привыкла к остроумным мужчинам; но те и вообще что-то собой представляли. Парадоксы ради парадоксов показались ей признаком незрелости и вызвали у нее потребность указать родственнику на серьезность обстановки, делавшую великую патриотическую акцию таким достойным и таким ответственным начинанием. Теперь она говорила другим тоном, подводя итог и поверяя; Ульрих невольно искал между ее словами те черно-желтые связующие нити, которыми прошивались и сшивались в министерствах листы документов. Из уст Диотимы выходили, однако, отнюдь не только административные, но также и духовные термины, такие как «бездушное, находящееся во власти лишь логики и психологии время» или «современность и вечность», и вдруг среди прочего зашла речь и о Берлине, и о «драгоценности чувства», которую австрийский дух, в отличие от Пруссии, еще хранит.

Ульрих несколько раз пытался прервать эту умственную тронную речь; но запах ризницы высшей бюрократии сразу же обволакивал каждое такое вторжение, тонко вуалируя его бестактность. Ульрих был поражен. Он поднялся, его первый визит явно подошел к концу.

В эти минуты его отступления Диотима обращалась с ним с той мягкой, из осторожности нарочито преувеличенной предупредительностью, которой научилась у своего мужа; тот проявлял ее, имея дело с молодыми дворянами, которые были его подчиненными, но могли в один прекрасный день стать его министрами. В том, как она пригласила его прийти еще, было что-то от заносчивой неуверенности духа перед грубой жизненной силой. Когда он вновь держал ее мягкую, невесомую руку в своей, они посмотрели друг другу в глаза. Ульрих определенно почувствовал, что им суждено причинить друг другу большие неприятности на почве любви.

«Вот уж правда, – подумал он, – красавица-гибра!» Он собирался уклониться от участия в великой отечественной акции, но та, похоже, приняла облик Диотимы и была готова его проглотить. Это было полузабавное впечатление; несмотря на свои годы и опыт, он казался себе маленьким вредным червем, которого внимательно разглядывает большая курица. «Господи, – думал Ульрих, – не позволить бы только этой великой душе спровоцировать себя на позорные делишки!» С него хватало связи с Бонадеей, и он положил себе быть предельно сдержанным.

Когда он покидал эту квартиру, его утешило одно впечатление, показавшееся ему приятным уже при приходе. Его провожала маленькая горничная с мечтательными глазами. В темноте передней, когда они первый раз вспорхнули к нему, глаза ее были как черная бабочка; теперь, при уходе, они опустились в темноту как черные снежинки. Что-то арабско- или алжирско-еврейское, смутно почувствованное им тогда, было так неприметно-мило в этой малышке, что Ульрих и теперь забыл хорошенько разглядеть девушку; лишь выйдя на улицу, он почувствовал, что после общества Диотимы вид этой маленькой был чем-то необыкновенно живым и бодрящим.

## 23. Первое вмешательство великого человека

После ухода Ульриха Диотима и ее горничная остались в тихой взволнованности. Но если у черной белочки каждый раз, когда она провожала к дверям знатного гостя, бывало такое чувство, словно ей удалось молнией шмыгнуть вверх по большой блестящей стене, то Диотима разбирала воспоминание об Ульрихе с добросовестностью женщины, которая, пожалуй, даже не прочь увидеть себя неподобающе взволнованной, потому что чувствует в себе силу мягко одернуть. Ульрих не знал, что в этот же день в жизнь ее уже вошел другой мужчина, высившийся перед ней как огромная, открывающая широкий обзор гора.

Доктор Пауль Арнгейм нанес ей визит вскоре после своего прибытия.

Он был безмерно богат. Его отец был могущественнейшим властителем «железной Германии», – даже начальник отдела Туцци снизошел до этой игры слов; Туцци держался правила, что в выражениях нужно быть бережливым и что игрой слов, хотя и в высокоумственном разговоре совсем без нее нельзя обойтись, не следует увлекаться, потому что это буржуазно. Он сам рекомендовал своей супруге принять этого гостя отличительно; ибо если люди этого рода и не были еще наверху в Германской империи и по своему влиянию при дворе не шли ни в какое сравнение с Круппами, то завтра, на его взгляд, такое могло случиться, и он при-совокупил содержание неких конфиденциальных слухов, по которым этот сын – а ему, между прочим, было уже далеко за сорок – не только стремится занять положение отца, но и готовится, опираясь на тенденцию времени и на свои международные связи, стать германским министром. Правда, по мнению начальника отдела Туцци, это было совершенно исключено, разве что сперва случится конец света.

Он не подозревал, какую бурю вызвал он этим в воображении супруги. Разумеется, убеждения ее круга велели не слишком высоко ценить «торгашей», но, как все люди буржуазного образа мыслей, она восхищалась богатством в той глубине души, которая совершенно не зависит от убеждений, и личная встреча с таким непомерно богатым человеком была для нее как золотые крылья ангела, вдруг к ней спустившиеся. За время карьеры своего супруга Эрмелинда Туцци привыкла, конечно, соприкоснуться со славой и богатством; но слава, добытая духовными подвигами, тает удивительно быстро от общения с ее носителями, а феодальное богатство либо принимает форму дурацких долгов молодых атташе, либо привязано к традиционному стилю жизни и никогда не пышет таким свержизобилием, как раскидистые горы денег, и не вызывает трепета искрами сыплющегося золота, которым крупные банки и мировая промышленность вершат свои операции. Единственным, что знала Диотима о банковском деле, было то, что даже средние служащие банков ездили в командировки в первом классе, тогда как ей всегда приходилось довольствоваться вторым, если она путешествовала не в обществе своего мужа, и на этом строилось ее представление о роскоши, окружающей высших владык такого левантйского предприятия.

Ее маленькая камеристка Рахиль – само собой разумеется, что Диотима, зовя ее, произносила это имя на французский манер – слышала фантастические вещи. Самой пустяковой из ее новостей была та, что набоб прибыл в собственном поезде, снял целую гостиницу и возит с собой раба-негритенка. Правда была гораздо скромнее, хотя бы потому, что Пауль Арнгейм всегда вел себя так, чтобы не обращать на себя внимания. Только арапчонок соответствовал действительности. Много лет назад, путешествуя по дальнему югу Италии, Арнгейм вытащил его из труппы плясунов и взял к себе, потому что вдруг одновременно пожелал украсить себя и поднять из бездны живое существо, чтобы, открыв ему жизнь духа, выполнить роль его творца. Вскоре, однако, Арнгейму миссия эта наскучила, и он пользовался мальчиком, которому было теперь шестнадцать лет, только уже как слугой, хотя до четырнадцатого его года давал ему читать Стендаля и Дюма. Но хотя слухи, приносимые домой ее камеристкой, были настолько

ребяческими в своих преувеличениях, что Диотима не могла не посмеиваться, она заставляла ее все повторять слово в слово, находя в этом такую неиспорченность, какая возможна только в этом единственном городе, который «до невинности напичкан культурой». И арапчонок, как ни странно, взволновал даже ее собственную фантазию.

Она была старшей из трех дочерей учителя средней школы, не имевшего никакого состояния, отчего ее супруг считался хорошей для нее партией уже и тогда, когда он, никому не ведомый буржуа вице-консул, мало что собой представлял. В девические годы у нее не было ничего, кроме гордости, а так как у гордости, в свою очередь, не было ничего, чем она могла бы гордиться, то гордость эта была лишь свернутой в клубок корректностью с колючими щупальцами чувствительности. Но и такая корректность таит иногда честолюбие и мечтательность и может быть не поддающейся учету силой. Если вначале Диотиму манила перспектива далеко ведущих приключений в далеких странах, то вскоре пришло разочарование, ибо через несколько лет это стало преимуществом, да и то скромным, лишь перед подругами, завидовавшими ей из-за налета экзотики, в ней чувствовавшегося, но не могло заслонить от нее той истины, что в главном жизнь в посольствах остается жизнью, привезенной из дому вместе с другим багажом. Честолюбие Диотимы долгое время готовилось умереть в благородной бесперспективности пятого класса табели о рангах, пока благодаря случаю восхождение ее мужа не началось вдруг с того, что один доброжелательный и «прогрессивно»-настроенный министр взял этого буржуа в канцелярию президиума центрального аппарата. Когда Туцци занял это место, к нему стали во множестве приходить люди, чего-нибудь от него хотевшие, и с этой поры в Диотиме тоже, чуть ли не к собственному ее удивлению, ожили сокровища воспоминаний о «духовных красоте и величии», которые она узнала будто бы в высококультурном родительском доме и центрах мира, а на самом деле, наверно, в высшей женской школе, где примерно училась, и она осторожно приступила к реализации этих сокровищ. Деловой, но необыкновенно надежный ум ее мужа невольно направил внимание и на нее, и теперь она действовала совершенно бесхитростно, как влажная губка, выдающая то, что без особой пользы в себя вобрала; увидев, что ее духовные преимущества замечены, Диотима стала с великой радостью вплетать в свои беседы в подходящих местах маленькие «высокоумные» идеи. И постепенно, по мере того как муж ее шел в гору, появлялось все больше людей, искавших его близости, и дом ее сделался «салонном», славившимся тем, что «общество и ум» здесь сходились. Теперь, общаясь с людьми, в разных областях что-то значившими, Диотима начала и всерьез открывать самое себя. Ее корректность, все еще полная внимания, как в школе, хорошо запоминавшая выученное и связывавшая это в некое приятное единство, превратилась в ум прямо-таки сама собой, просто расширившись, и дом Туцци получил признание.

## **24. Собственность и образованность; дружба Диотимы с графом Лейнсдорфом и служба приведения знаменитых гостей к единству с душой**

Но определенным понятием он сделался только благодаря дружбе Диотимы с его сиятельством графом Лейнсдорфом.

Если именовать разновидности дружбы по частям тела, то дружеские чувства графа Лейнсдорфа находились в таком месте между головою и сердцем, что Диотиму можно было бы назвать не иначе как его задушевной подругой, если бы это выражение было еще в ходу. Его сиятельство чтит ум и красоту Диотимы, не разрешая себе непозволительных намерений. Благодаря его благосклонности салон Диотимы не только приобрел нерушимое положение, но и нес, как он выражался, некую службу.

В плане личном его сиятельство граф, подчиненный непосредственно императору, был «всего лишь патриотом». Но государство состоит не только из короны, народа и администрации между ними, тут есть, кроме того, еще одно: мысль, мораль, идея!.. Сколь ни был его сиятельство религиозен, он, как человек с чувством ответственности, к тому же строивший фабрики в своих имениях, не закрывал глаза на тот факт, что дух ныне во многом вышел из-под церковной опеки. Ибо граф не представлял себе, как можно по религиозным принципам управлять, например, фабрикой, смутой на хлебной бирже или сахарным бумом, тогда как, с другой стороны, без биржи и промышленности современное крупное землевладение немислимо; и, когда его сиятельство выслушивал доклад своего управляющего, который доказывал ему, что сообща с той или иной иностранной группой спекулянтов то или иное дело можно обделать лучше, чем плечом к плечу с местной землевладельческой аристократией, его сиятельству в большинстве случаев приходилось склоняться в пользу первого, ибо объективные обстоятельства имеют свой резон, против которого нельзя идти в угоду собственным чувствам, если, возглавляя большое хозяйство, несешь ответственность не за одного себя, а за бесчисленное множество других жизней. Есть что-то вроде профессиональной совести, противоречащей подчас совести религиозной, и граф Лейнсдорф был убежден, что сам кардинал-архиепископ не смог бы тут поступить иначе, чем он. Правда, граф Лейнсдорф всегда был готов посетовать по этому поводу на открытых заседаниях палаты и выразить надежду, что жизнь снова вернется к простоте, естественности, сверхъестественности, здоровью и обязательности христианских принципов. Когда он открывал рот для таких рассуждений, казалось, что выдернули штепсельную вилку и подключили графа к другой электрической цепи. Впрочем, так бывает с большинством людей, когда они говорят публично; и, если бы кто-нибудь упрекнул его сиятельство в том, что сам же он делает то, против чего публично борется, граф Лейнсдорф со святой убежденностью заклеил бы подобные речи как демагогическую болтовню подрывных элементов, понятия не имеющих, сколь широка бывает в жизни ответственность. Тем не менее он сам признавал, что связь между вечными истинами и делами, которые куда запутаннее, чем прекрасная простота традиции, есть задача величайшей важности, и признавал также, что связь эту нужно искать не в чем ином, как в глубокой буржуазной образованности; своими великими идеями и идеалами в областях права, долга, нравственности и красоты она дотягивалась до насущных стычек и каждодневных противоречий и представлялась ему чем-то вроде моста, сплетенного из живых растений. Правда, мост этот не давал такой твердой и надежной опоры, как догматы церкви, но он был не менее необходимым и ответственным делом, и по этой причине граф Лейнсдорф был не только религиозным идеалистом, но и страстным идеалистом в делах мирских.

Этим убеждениям его сиятельства соответствовал состав салона Диотимы. Приемы Диотимы славились тем, что в большие дни там попадались люди, с которыми нельзя было и сло-

вом перекинуться, потому что они были слишком известны в какой-либо специальной области, чтобы говорить с ними о последних новостях, не зная порой даже названия той сферы знаний, где они пользовались всемирной известностью. Там бывали кенцинисты<sup>7</sup> и канисисты<sup>8</sup>, случилось, что грамматик языка «бо»<sup>9</sup> сталкивался там с исследователем партигенов, а токонтолог – со специалистом по квантовой теории, не говоря уж о тех представителях новых направлений в искусстве и литературе, что каждый год меняли свое наименование и в ограниченной мере допускались туда вместе со своими преуспевшими собратьями по профессии. В общем, круг посетителей был таков, что все в нем перемешивалось и гармонически смешивалось; только молодые дарования Диотима обычно держала на некоторой дистанции, ограничиваясь отдельными приглашениями, а редких или особых гостей умела незаметно выделить и подать в нужном обрамлении. Впрочем, дом Диотимы отличался от всех ему подобных прежде всего, если можно так выразиться, именно своей мирской стихией, той стихией практического применения идей, которая – говоря словами Диотимы – растекалась некогда вокруг богословского ядра толпой верующих деятелей, коллективом членов ордена, не принадлежащих к духовенству, короче, стихией действия; но сегодня, когда богословие вытеснено политической экономией и физикой, а перечень приглашаемых Диотимой правителей духа постепенно разросся до размеров каталога научных трудов Британского королевского общества, эти принадлежащие к ордену миряне и мирянки состояли соответственно из директоров банков, техников, политиков, советников министерств, а также из представителей и представительниц высшего и прилегающего к нему общества. Особенно о женщинах пеклась Диотима, но при этом предпочитала «интеллектуалкам» «дам». «Жизнь сегодня слишком отягощена знанием, – говорила она, – чтобы мы могли отказаться от „цельной женщины“». Она была убеждена, что только цельная женщина еще обладает той фатальной властью, которая способна опутать интеллект силами бытия, в чем тот, на ее, Диотимы, взгляд, нуждался для своего спасения. Молодые аристократы мужского пола, бывавшие у нее, потому что это вошло в обычай и не вызывало неодобрения начальника отдела Туцци, тоже, кстати сказать, ставили ей в большую заслугу эту теорию опутывающей женщины и сил бытия, ибо в нераздробленном бытии есть все-таки для аристократии что-то привлекательное, а вдобавок дом Туцци, где удавалось, не обращая на себя внимания, попарно углубляться в беседы, был, хотя Диотима этого и не подозревала, для любовных встреч и долгих объяснений наедине гораздо более удобным местом, чем какая-нибудь церковь.

В тех случаях, когда его сиятельство граф Лейнсдорф не называл эти два столь различных по сути элемента, смешивавшихся у Диотимы, «истинным благородством», он охватывал их определением «собственность и образованность»; но еще больше любил он прикладывать к ним ту идею «службы», которая занимала важнейшее место в его мышлении. Он держался взгляда, что всякий труд – не только чиновника, но в равной мере фабричного рабочего или концертного певца – представляет собой службу. «Каждый человек, – говорил он, – несет службу в государстве, рабочий, князь, ремесленник – все служащие!» Это вытекало из его всегда и при всех обстоятельствах объективно-нелицеприятного мышления, которое не признавало никакой протекции, и, на его взгляд, великосветские господа и дамы, болтавшие с исследователями богазкёйских<sup>10</sup> текстов или проблемы пластинчатожаберных и разглядывавшие жен финансовых тузов, тоже несли важную, хотя и не поддающуюся точному описанию службу. Это понятие «служба» заменяло ему то, что Диотима определяла как утраченное со времен Средневековья религиозное единство человеческих дел.

<sup>7</sup> Специалисты по африканскому диалекту кенци (Судан, Гвинея).

<sup>8</sup> Специалисты по одному из языков Хеттского царства (II тысячелетие до н. э.).

<sup>9</sup> Один из суданских языков.

<sup>10</sup> Клинописные тексты, найденные в 1906 г. археологами в турецкой деревне Богазкёй близ Анкары.

Да и, по сути, всякое такое принудительное общение, как у нее, если оно не совсем уж наивно и грубо, действительно идет от потребности создать видимость человеческого единства, которое должно объять самые разные виды человеческой деятельности и которого не существует на свете. Эту видимость Диотима называла культурой и, как особо добавляла она, старой австрийской культурой. С тех пор как ее честолюбие, расширившись, превратилось в духовность, она научилась употреблять это слово все чаще. Подразумевала она под этим прекрасные картины Веласкеса и Рубенса, висевшие в императорских музеях. Тот факт, что Бетховен был, так сказать, австрийцем. Моцарта, Гайдна, собор св. Стефана, Бургтеатр. Полный традиций придворный церемониал. Первый квартал Вены, где сгрудились самые изысканные в пятидесятимиллионной державе магазины платья и белья. Сдержанность высших чиновников. Венскую кухню. Аристократию, которая считала себя самой благородной после английской, и ее старые дворцы. Общепринятый стиль поведения, проникнутый иногда подлинным, но чаще фальшивым эстетизмом. Подразумевала она под этим и тот факт, что такой вельможа, как граф Лейнсдорф, дарил ей в этой стране свое внимание и перенес свои собственные культурные усилия в ее дом. Она не знала, что его сиятельство сделал это и потому, что ему казалось нежелательным открывать свой собственный дворец новизне, надзор за которой легко потерять. Граф Лейнсдорф часто тайком ужасался свободе и снисходительности, с какой его красивая приятельница говорила о человеческих страстях и учиняемых ими смутах или о революционных идеях. Но Диотима этого не замечала. Она разграничивала, так сказать, служебную нецеломудренность и частное целомудрие, как медичка или сотрудница отдела социального обеспечения; она содрогалась, как от удара по больному месту, если ее лично задевало какое-нибудь словцо, но в отвлечении от личного она могла говорить о чем угодно и притом чувствовала, что эта смесь очень привлекает графа Лейнсдорфа.

Жизнь, однако, ничего не строит, не выломав для этого камней в каком-нибудь другом месте. К обидному удивлению Диотимы, крошечная мечтательно-сладкая миндалин-ка фантазии, составлявшая прежде, когда оно еще ничего больше не содержало, ее бытие и сохранявшаяся даже тогда, когда она решилась выйти замуж за выглядевшего как кожаный чемодан с двумя темными глазами вице-консула Туцци, – миндалинка эта в годы успеха исчезла. Правда, многое из того, что она понимала под старой австрийской культурой, например Гайдн или Габсбурги, было раньше лишь нудным учебным заданием, а теперь сознание, что она живет в гуще всего этого, было полно для нее волшебной прелести, в которой столько же героического, сколько в гудении пчел в разгар лета; но со временем это стало чем-то не только однообразным, но и утомительным и даже безнадежным. С ее знаменитыми гостями у Диотимы получалось то же, что у графа Лейнсдорфа с его банковскими связями; как ни хотелось привести их в единство с душой, это не удавалось. Об автомобилях и рентгеновских лучах можно как-никак говорить, это еще вызывает какие-то чувства, но что остается делать со всеми другими бесчисленными изобретениями и открытиями, которые теперь приносит с собой каждый день, как в самой общей форме не восхищаться человеческой изобретательностью, а это постепенно надоедает! Его сиятельство приходил от случая к случаю и говорил с каким-нибудь политиком или позволял представить себе какого-нибудь нового гостя, ему было легко мечтать о глубокой образованности, но когда заниматься этой образованностью приходилось так детально, как Диотиме, то оказывалось, что непреодолима-то не ее глубина, а ее широта. Даже такие непосредственно касающиеся человека вопросы, как благородная простота Греции или смысл библейских пророчеств, распадались в разговоре со знатоками на необозримое множество сомнений и возможностей. Диотима обнаружила, что и знаменитые гости беседовали на ее вечерах всегда попарно, потому что говорить разумно и с толком человек уже тогда мог самое большее с одним человеком, а она, собственно, ни с кем не могла. Но тем самым Диотима открыла у себя самой тот известный недуг современного человека, который называется цивилизацией. Это стеснительное состояние, полное мыла, радиоволн, самонадеянной тайнописи математи-

ческих и химических формул, политической экономии, экспериментальных исследований и неспособности к простому, но высокому общению людей. И отношение присущего ей самой духовного аристократизма к аристократизму социальному, обязывавшее Диотиму к большой осторожности и приносившее ей, несмотря на все успехи, немало разочарований, – оно тоже все больше и больше со временем представлялось ей именно таким, какое характерно не для эпохи культуры, а для эпохи цивилизации.

Цивилизацией было, таким образом, все, чего не мог объять ее ум. А потому цивилизацией давно уже и прежде всего был ее муж.

## 25. Недуг замужней души

Она много читала о своем недуге и открыла, что утратила нечто, об обладании чем мало что знала дотеле, – душу.

Что это такое?.. Легко дать отрицательное определение: это то, что прячется, когда тебе говорят об алгебраических рядах.

А положительное? Похоже, что понятие это успешно ускользает от всяких попыток его поймать. Возможно, что в свое время в Диотиме была какая-то самобытность, какая-то вещая чувствительность, закутанная тогда в потертое от частой чистки платье ее корректности, и это-то она теперь называла душой и вновь находила в цветастой метафизике Метерлинка, в Новалисе, но прежде всего в той безымянной волне худосочной романтики и тоски о Боге, которую выплескивала некоторое время машинная эра как выражение духовного и художнического протеста против самой себя. Возможно также, что эту самобытность в Диотиме было бы точнее определить как некую тишину, нежность, благоговейность и доброту, которые так и не нашли верного пути и в той переплавке, что неизменно учиняет со всеми нами судьба, приняли смешную форму ее, Диотимы, идеализма. Может быть, это была фантазия; может быть, догадка о той инстинктивной вегетативной работе, что ежедневно совершается под телесным покровом, который предстает нам одухотворенным обликом красивой женщины; может быть, выпадали лишь не поддающиеся обозначению часы, когда она ощущала себя широкой и теплой, когда чувства казались более проникновенными, чем обычно, когда честолюбие и воля молчали, когда ее охватывали тихое опьянение жизнью и полнота жизни, когда мысли уходили с поверхности далеко в глубину, даже если они относились к самым ничтожным вещам, а события мировой важности отступали вдаль, как шум перед садом. У Диотимы бывало тогда такое ощущение, что она видит в себе саму истину, не прилагая к тому никаких усилий; нежные эмоции, еще не имевшие имен, приподнимали тогда свой флер; и она чувствовала себя – пользуясь лишь некоторыми из многих определений, найденных ею для этого в литературе, – женщиной гармоничной, гуманной, религиозной, близкой к той глубине самобытности, которая освящает все, что из нее восходит, и делает греховным все, истоки чего не в ней. Но хотя думать обо всем этом было довольно приятно, не только Диотима никогда не выходила за пределы таких догадок и намеков насчет некоего особого состояния, не выходили за них и пророческие книги, к которым она обращалась и которые говорили об одном и том же в одних и тех же таинственных и неточных словах. Диотиме ничего не оставалось, как счесть виноватой и в этом эпоху цивилизации, эпоху, когда доступ к душе как раз и отрезан.

Наверно, то, что она называла душой, было не чем иным, как небольшим капиталцем способности любить, которым она обладала ко времени своего замужества. Начальник отдела Туцци не предоставлял наилучшей возможности его вложения. Его превосходство над Диотимой было поначалу и в течение долгого времени превосходством старшего по возрасту; позднее к этому прибавилось превосходство человека преуспевающего и занимающего таинственное положение, который не очень-то раскрывается перед женой и благодушно смотрит на пустяки, которыми она занята. И, кроме как в пору жениховских нежностей, начальник отдела Туцци всегда был человеком пользы и разума, никогда не теряющим равновесия. Тем не менее от спокойной ладности его поступков и его костюма, от вежливо-строгого, можно сказать, запаха его тела и усов, от осторожно-твердого баритона его речи исходили токи, волновавшие душу девушки Диотимы так же, как близость хозяина – душу охотничьего пса, который кладет морду ему на колени. И как пес чутко и безмятежно трусит за хозяином, так Диотима под строгим, деловым руководством вышла в бескрайнее поле любви.

Начальник отдела Туцци предпочитал тут прямые пути. Его привычки были привычками честолюбивого работника. Он вставал рано утром, чтобы либо покататься верхом, либо, еще

лучше, часок прогуляться, что не только служило сохранению гибкости, но и представляло собой одну из тех педантично простых привычек, неукоснительное следование которым как нельзя лучше подходит к картине ответственного труда. И само собой разумеется, что вечером, если они не уходили в гости или не принимали гостей, он тотчас же удалялся в свой кабинет, потому что был вынужден держать свои большие деловые знания на той высоте, которая составляла его превосходство над коллегами и начальниками из дворян. Такая жизнь устанавливает твердые границы и подчиняет любовь остальной деятельности. Как все мужчины, чья фантазия не ранена эротикой, Туцци был в холостые годы – хотя ради своей репутации дипломата он нет-нет да показывался в обществе друзей с хористочками из театра – спокойным посетителем публичных домов и равномерное дыхание этой привычки перенес в брак. Диотима поэтому познакомилась с любовью как с чем-то резким, похожим на припадок, бесцеремонным, чему еще более могучая сила дает волю лишь раз в неделю. Это изменение сущности двух людей, начинавшееся минута в минуту, чтобы через несколько минут перейти в короткий разговор о недообсужденных событиях дня, а затем в ровный сон, это нечто, о чем в промежутках никогда не говорили или говорили только обиняками и намеками (отпуская, например, дипломатическую шутку насчет «*patrie honteuse*»<sup>11</sup> тела), имело, однако, для Диотимы неожиданные и противоречивые последствия.

С одной стороны, это стало подоплекой ее гипертрофированного идеализма, той официозной, обращенной ко внешнему миру личности, чья душевная жажда простиралась на все великое и благородное, что появлялось в ее кругу, и участвовала в этом и связывала себя с этим так горячо, что Диотима производила то сбивавшее с толку мужчин впечатление мощно пылающего, но платонического солнца любви, после рассказов о котором Ульриху стало любопытно познакомиться с ней. А с другой стороны, широкий ритм супружеской близости превратился у нее чисто физиологически в привычку, имевшую свою особую колею и дававшую о себе знать без связи с более высокими частями ее натуры, как голод холопа, чьи трапезы бедны, но сытны. Со временем, когда на верхней губе Диотимы пробились маленькие волоски и в ее девичью стать вмешалась мужская самостоятельность созревшего существа женского пола, это дошло до ее сознания и ужаснуло ее. Она любила своего супруга, но к любви ее примешивалась все большая мера отвращения, какая-то даже ужасная обида души, сравнимая разве что с чувствами, которые испытал бы погруженный в свои великие замыслы Архимед, если бы чужеземный солдат не убил его, а поставил перед ним унижительное требование сексуального рода. И поскольку супруг ее этого не замечал и у него никогда не появилось бы подобных мыслей, а ее тело против ее воли в конце концов каждый раз предавало ее ему, она чувствовала себя бесправной рабой; рабство это, правда, не считалось недобродетельным, но отбывать его было совершенно так же мучительно, как, по ее представлению, страдать тиком или поддаться пороку. От этого Диотима, может быть, стала бы только немного грустнее и еще идеалистичнее, но пришлось это, к несчастью, как раз на то время, когда и ее салон стал доставлять ей душевные неудобства. Начальник отдела Туцци самым естественным образом поощрял духовные усилия своей жены, быстро поняв, какая с ними связана выгода для его собственного положения, но он никогда в них не участвовал и, можно даже, пожалуй, сказать, не принимал их всерьез; ибо всерьез этот многоопытный человек принимал только власть, долг, высокое происхождение и на некотором расстоянии от этого разум. Он даже не раз советовал Диотиме не вкладывать слишком много честолюбия в свое руководство эстетическими делами, ибо, хотя культура и есть, так сказать, соль в кушанье жизни, великосветское общество не любит слишком соленой стряпни; говорил он это без всякой иронии, поскольку таково и было его убеждение, но Диотима чувствовала себя униженной. Ей упорно чудилась улыбка, которой супруг сопровождал те усилия по части идей; и был ли он дома или его не было дома, и относилась

<sup>11</sup> «Позорная отчизна» (фр.).

ли эта улыбка – если он действительно улыбался, за что отнюдь нельзя было поручиться, – к ней в особенности или была просто свойственна выражению лица человека, по долгу службы обязанного иметь неизменно высокомерный вид, улыбка эта постепенно делалась для нее все нестерпимее, и она никак не могла отмахнуться от мелькавшей в ней наглой правды. Диотима винила в этом материалистический период истории, сделавший из мира жестокою, бессмысленную игру, среди атеизма, социализма и позитивизма которой человек с душой не находит свободы, чтобы подняться к своей истинной сущности; но и это помогало нечасто.

Так обстояли дела в доме Туцци, когда великая патриотическая акция ускорила ход событий. С тех пор как граф Лейнсдорф, чтобы не выставить вперед дворянство, перенес ее центр в дом своей приятельницы, там царила не облеченная в слово ответственность, ибо Диотима была полна решимости доказать своему супругу, теперь или никогда, что ее салон не игрушка. Его сиятельство поведал ей, что великой патриотической акции нужна венчающая идея, и все честолюбие Диотимы устремилось на то, чтобы таковую найти. Мысль, что средствами целой империи и на глазах всего мира нужно осуществить что-то такое, что будет одной из величайших культурных ценностей, или, ограничиваясь более скромной задачей, такое, пожалуй, что покажет австрийскую культуру в ее глубочайшей сути, – эта мысль действовала на Диотиму так, как если бы двери ее салона вдруг распахнулись, а за порогом, продолжением пола, разливалось бескрайнее море... Нельзя было отрицать, что при этом первым ее ощущением было чувство неизмеримой, мгновенно отверзшейся пустоты.

Как часто в первых впечатлениях есть что-то верное! Диотима не сомневалась, что произойдет нечто ни с чем не сравнимое, и призвала на помощь все свои идеалы; она мобилизовала пафос школьных уроков истории, когда она училась считать царствами и столетиями; она вообще сделала все, что нужно сделать в такой ситуации, но после нескольких недель этой деятельности увидела, что ей ничего не пришло на ум. В этот миг Диотима почувствовала бы ненависть к своему супругу, если бы она вообще была способна испытывать ненависть – эту низменную эмоцию! Почувствовала она поэтому грусть, и в ней поднялась неведомая ей дотоле «злость на весь мир».

Это был тот момент, когда в сопровождении своего негротенка прибыл и вскоре нанес Диотиме чрезвычайно важный визит доктор Арнгейм.

## **26. Слияние души и экономики. Человек, способный соединить их, хочет насладиться барочным очарованием старой австрийской культуры. Благодаря этому рождается идея для параллельной акции**

Диотима не знала ненадлежащих мыслей, но многое в этот день пряталось, наверно, за невинным арапчонком, которым она занялась, велев удалиться Рашели. Она еще раз доброжелательно выслушала ее рассказ, после того как Уль-рих покинул дом своей Великой Кузины, и теперь эта красивая, зрелая женщина чувствовала себя молодой и словно бы занятой какой-то звонкой игрушкой. Когда-то аристократия, знать держала арапов; Диотиме приходили на ум прелестные картины – катанье на санках, запряженных украшенными флажками лошадьми, лакеи с султанами на головах, припудренные инеем деревья; но эта будившая воображение сторона аристократизма давным-давно умерла. «Деловая жизнь стала сегодня бездушной», – думала Диотима. В сердце ее было какое-то сочувствие этому смелому аутсайдеру, который еще дерзал держать арапа, этому неподобающе аристократичному буржуа, этому парвеню, который посрамлял потомственную привилегированность, как посрамлял некогда ученый греческий раб своих господ римлян. Ее сдавленное всяческими предрассудками чувство собственного достоинства по-сестрински дезертировало ему навстречу, и чувство это, очень естественное по сравнению со всеми другими ее чувствами, заставило ее даже закрыть глаза на то, что доктор Арнгейм – хотя слухи противоречили один другому и надежных сведений еще не имелось – был происхождения еврейского; об отце его, во всяком случае, это говорилось с уверенностью, только мать умерла так давно, что требовалось некоторое время, чтобы узнать точно. Возможно, впрочем, что определенная доля жестокой мировой скорби в сердце Диотимы вовсе и не желала опровержения.

Диотима осторожно позволила своим мыслям покинуть арапа и приблизиться к его хозяину. Доктор Пауль Арнгейм был не только богатый человек, это был еще и выдающийся ум. Слава его не ограничивалась тем, что он был наследником охватывавших весь мир предприятий, на досуге он писал книги, считавшиеся в передовых кругах выдающимися. Люди, составляющие такие чисто духовные круги, стоят выше денег и буржуазных рангов; но нельзя забывать, что именно поэтому они бывают как-то особенно очарованы, когда богатый человек уподобляется им, а в своих программах и книгах Арнгейм к тому же провозглашал ни больше ни меньше, как именно слияние души и экономики, идеи и власти. Чуткие, улавливающие тончайшие веяния будущего умы распространяли мнение, что он соединяет в себе эти два обычно разделенных в мире полюса, и благоприятствовали слуху, что появилась новая сила, призванная направить к лучшему судьбы империи, а может быть, кто знает, и мира. Ибо давно уже повсюду было распространено чувство, что принципы и методы старой политики и дипломатии сведут Европу в могилу, и вообще тогда уже начался повсеместно период отхода от специалистов.

Состояние Диотимы тоже можно было определить как протест против мышления старой дипломатической школы, поэтому она тотчас же уловила чудесное сходство между позицией этого гениального аутсайдера и своей. Вдобавок знаменитый человек при первой же возможности нанес ей визит, ее дому эта честь выпала намного раньше, чем другим, а рекомендательное письмо их общей приятельницы говорило о старой культуре города Габсбургов и его жителей, которой этот труженик надеется насладиться среди неизбежных дел. Диотима почувствовала себя особо отмеченной, как писатель, которого впервые переводят на язык чужой страны, когда заключила из слов приятельницы, что этому знаменитому иностранцу известна репутация ее ума. Она заметила, что на вид в нем не было ничего еврейского, это был чело-

век благородной наружности финикийско-античного типа. Но и Арнгейм пришел в восторг, встретив в Диотиме женщину, которая не только читала его книги, но и своим сходством с тучноватой античной статуей соответствовала его идеалу красоты, который был эллинским, но с небольшим добавлением плоти, чтобы классические формы не казались такими застывшими. Вскоре до Диотимы дошло, что впечатление, которое она способна была произвести в течение двадцатиминутного разговора на человека с действительно всемирными связями, начисто рассеяло все сомнения, какими ее собственный, но, видимо, привыкший к несколько устаревшим методам дипломатии муж умалял ее значительность.

С приятным чувством повторяла она про себя этот разговор. Не успел он начаться, как Арнгейм уже сказал, что приехал он в этот старый город только затем, чтобы среди барочного очарования старой австрийской культуры немного отдохнуть от расчетов, от материализма, от унылой разумности нынешнего труженика цивилизации.

– В этом городе так много веселой душевности, – ответила Диотима, и она была довольна, что так ответила.

– Да, – сказал он, – у нас уже нет сегодня внутренних голосов; мы слишком много знаем, разум тиранит нашу жизнь.

Тогда она ответила:

– Я люблю общаться с женщинами, потому что они ничего не знают и не изломаны.

И Арнгейм сказал:

– Тем не менее красивая женщина понимает куда больше, чем мужчина, который, при всей своей логике и психологии, совершенно ничего не знает о жизни.

И тут она рассказала ему, что сходной с освобождением души от цивилизации проблемой, только в ее высоком и государственном плане, заняты здешние руководящие круги; «Надо...» – сказала она, и Арнгейм ее перебил: это просто замечательно; «надо знакомить с новыми идеями или, если позволено будет сказать (тут он слегка вздохнул), вообще знакомить с идеями сферы власти!» И Диотима продолжила: предполагается образовать комитеты из представителей всех слоев населения, чтобы определить эти идеи... Но как раз тут Арнгейм сказал нечто необыкновенно важное, сказал таким полным дружеской теплоты и внимания тоном, что это предостережение запало Диотиме в самое сердце: нелегко будет, воскликнул он, добиться таким способом чего-то великого; не демократия комитетов, а только отдельные сильные люди, имеющие опыт как в реальных делах, так и в области идей, могли бы управлять подобной акцией!

Досюда Диотима повторила про себя этот разговор дословно, а здесь он растворился в сиянии; она уже не могла вспомнить, что ответила сама. Неопределенное, захватывающее чувство счастья и ожидания непрестанно поднимало ее все выше и выше; дух ее походил сейчас на улетевший яркий воздушный шарик, который, великолепно светясь, плывет ввысь к солнцу. А в следующее мгновение он лопнул.

Тут для великой параллельной акции родилась идея, которой ей до тех пор не хватало.

## 27. Суть и содержание великой идеи

Легко, пожалуй, сказать, в чем состояла эта идея, но никто не сумел бы передать все значение того, в чем она состояла! Ведь тем-то и отличается подавляюще великая идея от ординарной, может быть, даже от непонятно-ординарной и нелепой, что она находится как бы в расплавленном состоянии, благодаря которому «я» оказывается в бесконечной дали, а дали миров, наоборот, входят в «я», причем уже нельзя различить, где тут личное и где бесконечное. Поэтому подавляюще великие идеи состоят из тела, которое, как человеческое тело, плотно, но бrenно, и из вечной души, составляющей их значение, но не плотной, а сразу же распадающейся при всякой попытке схватить ее холодными словами.

После такого предварения надо сказать, что великая идея Диотимы состояла не в чем ином, как в том, чтобы пруссак Арнгейм взял на себя духовное руководство великой австрийской акцией, хотя ее острие было ревниво направлено против пруссаческой Германии. Но это лишь мертвая словесная оболочка идеи, и кто находит ее непонятной или смешной, тот совершает надругательство над трупом. Что же касается души этой идеи, то надо сказать, что в ней не было ничего нецеломудренного и недозволенного, и к своему решению Диотима на всякий случай приложила, так сказать, оговорку в пользу Ульриха. Она не знала, что и ее родственник – хотя и на куда более низком уровне, чем Арнгейм, заслонивший его своей персоной, – тоже произвел на нее впечатление, и она бы, вероятно, презирала себя, если бы это стало ей ясно; но инстинктивно она все-таки приняла контрмеры, объявив его в своем сознании «незрелым», хотя Ульрих был старше ее самой. Она положила себе его жалеть, и это облегчало убежденность в том, что ее долг – избрать вместо него Арнгейма для руководства ответственной акцией; но, с другой стороны, после того как она родила это решение, заявила о себе и женская мысль, что отстраненный нуждается теперь в ее помощи и таковой достоин. Если ему чего-то недоставало, то у него не было лучшего способа это приобрести, чем участие в великой акции, дававшей ему возможность постоянного пребывания вблизи от нее и от Арнгейма. Таким образом, Диотима решила еще и это, но это были, конечно, всего лишь добавочные соображения.

## **28. Глава, которую может пропустить всякий, кто не очень высокого мнения о занятости мыслями**

Ульрих между тем сидел дома за своим письменным столом и работал. Он извлек исследование, прерванное им на середине несколько недель назад, когда он решил вернуться; он не собирался доводить его до конца, ему просто доставляло удовольствие, что у него все еще получаются такие вещи. Погода была хорошая, но в последние дни он покидал дом лишь ненадолго, он не выходил даже в сад и, задернув занавески, работал при мягком свете, как акробат, демонстрирующий в полутемном цирке, еще закрытом для зрителей, опасные новые прыжки сидящим в партере знатокам. Точность, сила и надежность этого мышления, не имеющего ничего равного себе в жизни, наполняла его чуть ли не грустью.

Он отодвинул испещренный формулами и знаками листок, где под конец, как пример из физики, написал уравнение состояния воды, чтобы применить новый математический метод, который описывал; но мысли его уже, наверно, за несколько мгновений до этого ушли в сторону.

«Не рассказывал ли я Клариссе чего-то насчет воды?» – спросил он себя, однако же не сумел отчетливо вспомнить. Но это и не было важно, и мысли его праздно растеклись.

Увы, нет ничего более трудного для воспроизведения в художественной литературе, чем думающий человек. Когда одного великого первооткрывателя спросили, как это ему пришло в голову столько нового, он ответил: «Просто я непрестанно об этом думал». И правда, можно, наверно, сказать, что неожиданные идеи появляются не от чего другого, как от того, что их ждут. Они в немалой мере суть результат характера, постоянных склонностей, упорного честолюбия и неотступных занятий. Как, наверно, скучно это постоянство! Однако, с другой стороны, решение умственной задачи совершается почти таким же способом, каким собака, держащая в зубах палку, пытается пройти через узкую дверь: она мотает головой до тех пор, пока палка не пролезает, и точно так же поступаем мы, с той только разницей, что действуем не наобум, а уже примерно зная по опыту, как это делается. И хотя умная голова, совершая эти движения, проявляет, конечно, гораздо больше ловкости и сноровки, чем глупая, пролезание палки неожиданно и для нее, оно происходит внезапно, и в таких случаях ты отчетливо чувствуешь легкое смущение оттого, что мысли сделали себя сами, не дожидаясь своего творца. Смущенное это чувство многие называют сегодня интуицией – прежде его называли и вдохновением – и усматривают в нем нечто сверхличное; а оно есть лишь нечто безличное, а именно родство и единство самих вещей, которые сходятся в чьей-то голове.

Чем лучше голова, тем меньше при этом ощущаешь ее. Поэтому думанье, покуда оно не завершено, есть по сути весьма жалкое состояние, похожее на колику всех мозговых извилин, а когда оно завершено, оно имеет уже не ту форму, в какой оно происходит, не форму мысли, а форму продуманного, а это, увы, форма безличная, ибо теперь мысль направлена уже наружу и препарирована так, чтобы сообщить ее миру. Когда человек думает, нельзя уловить, так сказать, момент между личным и безличным, и поэтому, наверно, думать писателям так трудно, что они стараются этого избежать.

А человек без свойств сейчас размышлял, думал. Пусть отсюда сделают вывод, что это хотя бы отчасти не было делом личным. Что же это тогда? Исходящий и входящий мир; стороны мира, складывающиеся воедино в чьей-либо голове. Решительно ничего важного ему на ум не пришло; после того как он занялся водой в виде примера, ему ничего не пришло на ум, кроме того, что вода – это субстанция, которая втрое больше суши, даже если принимать в расчет только то, что каждый признает водой – реки, моря, озера, родники. Долго думали, что она родственна воздуху. Так думал великий Ньютон, и все-таки в большинстве других своих мыслей он еще современен. По мнению греков, мир и жизнь произошли из воды. Она была

богом – Океаном. Позднее придумали русалок, эльфов, ундинов, нимф. На берегах возводились храмы и оглашались пророчества. Но и соборы в Хильдесгейме, Падерборне, Бремене построены над родниками, и разве эти соборы всё еще не стоят? Да ведь и крестят все еще тоже водой? И разве нет на свете всяких там водолюбов и поборников лечения природными факторами, и разве не дышит их душа каким-то странным, каким-то могильным здоровьем? Вот где, значит, было в мире место, подобное расплывшейся точке или вытоптанной траве. И конечно, где-то в сознании у человека без свойств гнездились еще и современное знание, думал ли он о том или нет. А там вода – это бесцветная, лишь в толстых слоях голубая жидкость без запаха и без вкуса, о чем так часто твердили в школе, отвечая уроки, что этого нельзя позабыть, хотя с физиологической точки зрения к воде относятся также бактерии, растительные вещества, воздух, железо, сернокислая и двууглекислая известь, а с физической – прообраз всех жидкостей в сущности вовсе не жидкость, в одних случаях это твердое тело, в других жидкость или газ. Все в конце концов растворяется в системах как-то взаимосвязанных формул, и в огромном мире есть лишь несколько десятков людей, которые думают одно и то же даже о такой простой вещи, как вода; все прочие говорят о ней на языках, родившихся где-то между днем нынешним и днями многотысячелетней давности. Надо, стало быть, признать, что стоит лишь человеку чуть-чуть задуматься, как он уже некоторым образом попадает в довольно-таки беспорядочную компанию!

И тут Ульрих вспомнил, что все это он действительно рассказывал Клариссе, а она была невежественна, как зверек. Но, несмотря на все суеверие, из которого она состояла, нельзя было смутно не почувствовать единства с ней. Это кольнуло его, как теплая игла.

Ему стало досадно.

Известная, открытая врачами способность мыслей растворять и рассеивать разросшийся в глубину, мучительно запутанный конфликт, идущий из глухих областей личности, основана, вероятно, не на чем ином, как на их социальной, обращенной к внешнему миру природе, связывающей отдельного человека с другими людьми и вещами; но, к сожалению, то же, по-видимому, что дает мыслям их целебную силу, мешает отнестись к ним как к непосредственно личному впечатлению. Беглое упоминание о волоске на носу весит больше, чем самая значительная мысль, и когда повторяются даже самые обыкновенные и безличные поступки, чувства и ощущения, то кажется, что ты присутствовал при каком-то происшествии, при каком-то более или менее крупном личном событии.

«Глупо, – подумал Ульрих, – но это так». Он вспомнил то глупо-глубокое, волнующее, прямо касающееся твоего «я» впечатление, которое возникает, когда нюхаешь свою кожу. Он встал и раздвинул оконные занавески.

Кора деревьев была еще по-утреннему мокрой. По улице стелился фиолетовый бензиновый туман. Солнце светило, и люди двигались энергично. Была асфальтовая весна, был один из тех не относящихся ни к одному времени года весенних дней осени, какие выколдовывают города.

## 29. Объяснение и нарушения нормального режима сознания

У Ульриха был с Бонадеей условный знак, показывавший, что он один дома. Он всегда был один, но не подавал знака. Он уже давно был готов к тому, что Бонадея войдет без зова в шляпе с вуалью. Ибо Бонадея была сверх меры ревнива. И когда она приходила к мужчине, – хотя бы только с тем, чтобы сказать ему, что она его презирает, – то появлялась она всегда полная внутренней слабости, потому что полученные в пути впечатления и взгляды встречных мужчин кружили ей голову, как легкая морская болезнь. Но если мужчина об этом догадывался и направлялся к ней прямым курсом, хотя давно уже не проявлял ни любви к ней, ни интереса, то она оскорблялась, ссорилась с ним, осыпала его бранью, чего сама никак уже не ждала, и смахивала при этом на утку, упавшую с простреленными крыльями в море любви и пытающуюся спастись вплавать.

И вот вдруг Бонадея действительно сидела здесь, плакала и чувствовала себя поруганной.

В такие моменты злости на любовника она страстно признавала свою вину перед супругом. По доброму старому правилу неверных жен, применяемому ими для того, чтобы не выдать себя опрометчивым словом, она рассказала ему о занятом ученом, которого иногда встречает в семье одной приятельницы, но не приглашает, потому что он слишком избалован своим положением в обществе, чтобы прийти из своего дома в их дом, а она не такого уж о нем высокого мнения, чтобы стараться его заполучить. Половина правды, здесь содержавшаяся, облегчала ей ложь, а за вторую половину она обижалась на своих любовников... Что подумает муж, вопрошала она, если она вдруг опять станет реже видеться с названной для прикрытия приятельницей?! Как ей объяснить ему эти колебания в привязанностях?! Она глубоко уважает правду, потому что глубоко уважает идеалы, а Ульрих бесчестит ее, заставляя отклоняться от них дальше, чем нужно!

Она устроила ему бурную сцену, а когда сцена кончилась, в возникший вакуум посыпались упреки, клятвы, поцелуи. Когда кончились и они, все осталось по-прежнему; потекшая вновь дежурная болтовня заполняла пустоту, и время пускало пузыри, как застоявшаяся в стакане вода.

«Насколько она красивее, когда бесится, – думал Ульрих, – и как машинально все совершилось потом опять». Ее вид соблазнил его и побудил к нежностям; теперь, когда это кончилось, он снова почувствовал, как мало это его касалось. Невероятная быстрота таких перемен, превращающих здорового человека в буйного безумца, стала сейчас предельно ясна. Но ему казалось, что эта любовная метаморфоза в сознании есть лишь частный случай чего-то гораздо более общего; ведь и вечер в театре, и концерт, и церковная служба, вообще всякое внешнее проявление внутреннего мира – это сегодня такие же недолговечные островки второго режима сознания, который временно вклинивается в обычный.

«Ведь еще недавно я работал, – думал он, – а до этого выходил на улицу и покупал бумагу. Я поздоровался с одним знакомым по Физическому обществу. Не так давно у меня была с ним серьезная беседа. И теперь, если бы Бонадея немного поторопилась, я бы мог заглянуть вон в те книги, которые видны за приоткрытой дверью. В промежутке, однако, мы пролетели сквозь облако безумия, а теперь жуть берет от того, как серьезные мысли снова смыкаются над этим исчезающим разрывом, показывая свою упрямую силу».

Но Бонадея не торопилась, и Ульриху пришлось думать о чем-то другом. Друг его юности Вальтер, этот ставший немного странным супруг маленькой Клариссы, сказал как-то о нем: «С величайшей энергией Ульрих делает всегда только то, что не считает необходимым». Слова Вальтера пришли ему на ум как раз сейчас; «обо всех нас можно сказать это сегодня», – подумал он. Он помнил довольно хорошо: деревянный балкон опоясывал дачу. Ульрих был гостем

родителей Клариссы; это было за несколько дней до свадьбы, и Вальтер ревновал к нему. Вальтер на диво умел ревновать. Ульрих стоял перед дверью, на солнце, когда Кларисса и Вальтер вошли в комнату, находившуюся за балконом; он подслушивал их, не прячась. Впрочем, он помнил теперь одну только эту фразу. И потом картину: тенистая глубина комнаты висела как складчатый, чуть приоткрытый кошелек на яркой солнечности наружной стены. В складках этого кошелька появились Вальтер и Кларисса; лицо Вальтера было скорбно вытянуто и выглядело так, словно на нем виднелись длинные желтые зубы. Можно было сказать также, что в коробочке, обшитой внутри черным бархатом, лежала пара длинных желтых зубов, а рядом стояли, как призраки, эти два человека. Ревность была, конечно, нелепа; Ульриха не влекло к женам его друзей. Но у Вальтера всегда была необыкновенная способность к сильным переживаниям. Он никогда не достигал того, чего хотел, потому что так много чувствовал. Кажется, он носил в себе какой-то мелодичный звукоусилитель для всякого маленького счастья и несчастья. Он всегда тратил золотую и серебряную мелочь чувств, Ульрих же больше оперировал крупными суммами, чеками мыслей, так сказать, с внушительными цифрами; но, в конце концов, это была только бумага. Когда Ульрих представлял себе Вальтера в характерном для него виде, тот обычно лежал на опушке леса. На нем были короткие штанишки и почему-то черные чулки; ноги у него были не мужские, не мускулисто-крепкие и не тощие, жилистые, а как у девушки; как у не очень красивой девушки с мягкими некрасивыми ногами. Подложив руки под голову, он озирает окрестность, и небеса знали, что сейчас их тревожат. Ульрих не помнил, чтобы он видел Вальтера в этой позе при каких-то определенных, как-то запечатлевшихся обстоятельствах; нет, картина эта, как скрепляющая печать, вырисовалась после полутора десятилетий. И воспоминание, что Вальтер тогда ревновал к нему, очень приятно волновало. Все это происходило ведь в то время, когда еще была радость от самого себя. И Ульрих подумал: «Я уже несколько раз навещал их, а Вальтер не отвечает на мои визиты. Но все-таки сегодня вечером я, пожалуй, съезжу опять; зачем мне придавать этому значение?»

Он решил послать им весточку, когда Бонадея наконец завершит одевание, делать это в присутствии Бонадеи было неблагодарно из-за скучного перекрестного вопроса, который непременно последовал бы.

И так как мысли быстры, а Бонадея была далеко не готова, ему пришло на ум еще кое-что. На сей раз это была маленькая теория, она была проста, убедительна и помогала убить время. «Молодой человек, если у него живой ум, – сказал Ульрих себе, имея в виду, вероятно, все еще своего друга юности Вальтера, – непрерывно излучает идеи во все стороны. Но возвращается к нему рикошетом лишь то, что находит резонанс в его окружении, а все остальные лучи рассеиваются и пропадают в пространстве!» Ульрих твердо полагал, что человек, наделенный умом, обладает всеми его видами, вследствие чего ум изначально, чем свойства; сам он был человеком со множеством противоречий и представлял себе, что все свойства, когда-либо проявлявшиеся в человечестве, заложены поблизости друг от друга в уме каждого человека, если у него вообще есть ум. Это, может быть, не совсем верно, но то, что мы знаем о возникновении добра и зла, заставляет полагать, что у каждого есть свой внутренний размер, но одежду этого размера он может носить любую, какую ни подкинет судьба. И поэтому то, о чем он только что думал, показалось Ульриху не совсем пустым. Ведь если в ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый автоматически становится все посредственнее, то вот и объяснение, почему, несмотря на тысячи возможностей, нам как будто открытых, обыкновенный человек и правда обыкновенен! Объясняется этим и то, что даже среди привилегированных людей, которые пробиваются и достигают признания, наибольший успех выпадает на долю определенной смеси, состоящей примерно из 51 % глубины и 49 % банальности, а это давно уже казалось Ульриху таким непонятно-нелепым, таким нестерпимо печальным, что он с удовольствием подумал бы об этом еще.

Мешало ему то, что Бонадея все еще не подавала признаков своей готовности; осторожно заглянув в дверь, он увидел, что она прервала одевание. Она находила рассеянность не деликатной, когда дело касалось последних капель сладостной близости; обиженная его молчанием, она ждала, что он сделает. Она взяла книгу, и та оказалась, на счастье, историей искусства с прекрасными иллюстрациями.

Вернувшись к своим мыслям, Ульрих почувствовал, что его раздражает ее ожидание, и впал в смутное нетерпение.

### 30. Ульрих слышит голоса

И вдруг мысли его сжались, и, словно глядя в образовавшуюся щель, он увидел Кристиана Моосбругера, плотника, и его судей. На муку и на смех человеку, который думает не так, судья говорил:

«Почему вы вытерли окровавленные руки? Почему выбросили нож? Почему вы после убийства переменяли платье и белье? Потому что было воскресенье? Не потому, что они были в крови? Почему вы на следующий вечер пошли на танцы? Преступление, значит, не помешало вам это сделать? Чувствовали ли вы вообще раскаяние?»

В Моосбругере что-то шевелится: старый тюремный опыт, который учит, что надо симулировать раскаяние. От этого шевеленья рот Моосбругера перекашивается, и он говорит:

– Конечно!

– Но в полицейском участке вы сказали: я не чувствую никакого раскаяния, а только иступленную злость и ненависть! – сразу же врубается судья.

– Возможно, – говорит Моосбругер, снова обретая твердость и благородство. – Возможно, что тогда у меня не было других чувств.

– Вы рослый, сильный мужчина, – вторгается прокурор, – как же вы могли бояться этой Хедвиг!

– Господин советник юстиции, – отвечает Моосбругер, улыбаясь, – она сделалась ласковой. Я представил себе ее еще более жестокой, чем обычно бывают, как я считаю, такие бабы. Верно, я кажусь сильным, да и правда силен...

– То-то и оно, – бурчит себе под нос председатель, листая дело.

– Но в определенных ситуациях, – говорит Моосбругер, – я бываю робок и даже труслив.

Глаза председателя выпархивают из бумаг; как две птицы на ветке, покидают они фразу, на которой только что сидели.

– Когда вы повздорили на стройке с товарищами, вы, однако, нисколько не трусили! – говорит председатель. – Одного вы сбросили с третьего этажа, а другим перерезали ножом...

– Господин председательствующий, – кричит Моосбругер дурным голосом, – я и сегодня еще стою на той точке зрения...

Председатель отмахивается.

– Несправедливость, – говорит Моосбругер, – вот в чем основа моей жестокости. Представ перед судом, я наивно думал, что господа судьи и так всё узнают. Но меня постигло разочарование!

Лицо судьи давно уже снова уткнулось в бумаги.

Прокурор улыбается и дружелюбно говорит:

– Но ведь эта Хедвиг была совершенно безобидная девушка!

– А мне она не показалась такой! – отвечает Моосбругер все еще раздраженно.

– А мне, – с ударением заключает председатель, – кажется, что вы все время сваливаете вину на других!

– Так почему же вы пырнули ее? – дружелюбно начинает прокурор все сначала.

## 31. На чьей ты стороне?

Было ли это на заседании, на котором Ульрих присутствовал, или он знал это из отчетов, которые прочитал? Он вспомнил сейчас все так живо, словно слышал эти голоса. Он еще никогда в жизни не «слыхал голосов»; не таков он был, Бог свидетель. Но когда их слышишь, это опускается на тебя, как покой снегопада. Вдруг возникают стены, от земли до небес; где прежде был воздух, шагаешь через мягкие толстые стены, и все голоса, что прыгали в клетке воздуха с места на место, свободно ходят теперь в сросшихся до самой внутренности белых стенах.

Он, наверно, истомился от работы и скуки; тогда такое порой случается; но слышать голоса ему вовсе не было неприятно. И вдруг он сказал вполголоса:

– У человека есть вторая родина, где все, что он делает, невинно.

Бонадея возилась с какой-то тесемкой. Она тем временем успела уже войти в его комнату. Разговор не понравился ей, она нашла его неделикатным; фамилию убийцы-маньяка, о котором столько писалось в газетах, она уже давно забыла, и, когда Ульрих о нем заговорил, вспомнить его ей удалось лишь с усилием.

– Но если Моосбругер, – сказал он после паузы, – вызывает это тревожное впечатление невинности, то уж подавно ведь вызывает его эта бедная, несчастная, замерзшая особа с мышинными глазками под платком, эта Хедвиг, которая клянчила, чтобы он пустил ее в свою комнату, и потому была им убита?

– Перестань! – потребовала Бонадея и подняла белые плечи.

Ибо это направление их разговору Ульрих придал как раз в тот коварно выбранный миг, когда наполовину уже натянутые одежды его обиженной и жаждущей примирения подружки снова образовали на ковре, после того как она вошла в комнату, тот маленький, прелестно-мифологический кратер пены, из которого выходит Афродита. Бонадея была поэтому готова возненавидеть Моосбругера и, рассеянно ужаснувшись, отделаться от его жертвы. Но Ульрих этого не допустил и стал расписывать участь, ожидавшую Моосбругера.

– Два человека наденут петлю ему на шею, не питая к нему решительно никаких злых чувств, только по той причине, что им за это платят. Присутствовать будет какая-нибудь сотня людей, одни потому, что этого требует их служба, другие же – оттого, что каждому хочется раз в жизни увидеть казнь. Торжественный господин в цилиндре, фраке и черных перчатках натянет веревку, и в тот же миг двое его помощников повиснут на ногах Моосбругера, чтобы сломать ему шею. Затем человек в черных перчатках положит руку на сердце Моосбругера и с заботливой миной врача проверит, бьется ли оно еще, и если бьется, то все повторят еще раз, чуть потерпеливее и не столь торжественно. Ты-то за Моосбругера или против него? – спросил Ульрих.

Медленно и мучительно, как человек, разбуженный не вовремя, Бонадея потеряла «настроение» – так называла она свои прелюбодейные желания. Нерешительно придержав на несколько мгновений сползавшие одежды и открытый корсет, она вынуждена была наконец сесть. Как всякая женщина в подобной ситуации, она твердо уповала на общественный порядок, который так справедлив, что можно, выкинув его из головы, заниматься своими личными делами; теперь, когда ей напомнили об обратном, в ней сразу утвердилась сочувственная солидарность с Моосбругером-жертвой, исключив всякую мысль о Моосбругере-убийце.

– Значит, – заключил Ульрих, – ты всегда за жертву и против преступных действий.

Бонадея выразила естественное чувство, что в такой обстановке такой разговор неуместен.

– Но если ты такая последовательная противница преступных действий, – отвечал Ульрих, вместо того чтобы сразу же извиниться, – как ты оправдываешь свои измены, Бонадея?!

Множественное число особенно было неделикатно! Бо-надея промолчала, села с презрительной миной в одно из мягких кресел и оскорбленно стала разглядывать пересечение стены с потолком.

## 32. Забытая, чрезвычайно важная история с супругой одного майора

Неблагоразумно чувствовать свое родство с явным психопатом, и Ульрих его и не чувствовал. Но почему один эксперт утверждал, что Моосбругер психопат, а другой – что он вовсе не психопат? Откуда взялась у репортеров та ловкая деловитость, с какой они описывали работу его ножа? И какими свойствами вызвал Моосбругер такую же сенсацию и примерно так же потряс половину тех двух миллионов людей, что жили в этом городе, как какая-нибудь семейная ссора или расстроившаяся помолвка; почему здесь его дело воспринималось с огромным личным участием, задевало дремлющие в иное время сферы души, а в провинциальных городах было не столь важной новостью и уж вовсе никого не трогало в Берлине или Бреславле, где время от времени появлялись свои собственные, свои местные Моосбругеры? Эта страшная игра общества с его жертвами занимала Ульриха. Он чувствовал ее повторение в самом себе. У него не было воли ни для того, чтобы освободить Моосбругера, ни для того, чтобы помочь правосудию, а чувства его взъерошились, как шерсть кошки. Чем-то неведомым Моосбругер касался его больше, чем его, Ульриха, собственная жизнь, жизнь, которую он, Ульрих, вел; Моосбругер волновал его как темное стихотворение, где все немного искажено и смещено и являет какой-то раздробленный, таящийся в глубине души смысл.

«Романтика ужасов!» – возражал он себе. Восхищаться ужасным или недозволенным в узаконенной форме снов и неврозоз было, казалось ему, вполне в духе людей буржуазной эпохи. «Либо – либо! – думал он. – Либо ты нравишься мне, либо нет! Либо я защищаю тебя во всей твоей чудовищности, либо я должен высечь себя, потому что я с ней играю!» И даже холодное, но деятельное сожаление было бы, в конце концов, тоже уместно; уже сегодня можно было бы многое сделать, чтобы предотвратить такие случаи и появление таких фигур, если бы общество само затратило хоть половину тех нравственных усилий, которые оно требует от таких жертв. Но тут выплыла еще и совсем другая сторона, с какой можно было посмотреть на это дело, и удивительные воспоминания поднялись в Ульрихе.

Наше суждение о любом поступке никогда не бывает суждением о той его стороне, которую Бог вознаграждает или наказывает; сказал это, как ни странно, Лютер. Вероятно, под влиянием кого-то из тех мистиков, с кем он одно время водился. Сказать это могли бы, конечно, и многие другие верующие. Все они были, в буржуазном смысле, имморалисты. Они отличали грехи от души, которая может остаться, несмотря на грехи, незапятнанной, почти так же, как Макиавелли отличал цель от средства. «Человечного сердца» они были «лишены». «В Христе тоже был внешний и внутренний человек, и все, что он делал в отношении внешних вещей, он делал в ипостаси внешнего человека, а внутренний человек стоял при этом в неподвижной отрешенности», – говорит Эккехарт<sup>12</sup>. Могли в конечном счете такие святые и верующие оправдать, в конце концов, даже Моосбругера?! Разумеется, человечество шагнуло с тех пор вперед; но если оно и убьет Моосбругера, то все-таки оно еще имеет слабость чтить тех мужей, которые, чего доброго, его оправдали бы.

И тут вслед за волной неприятного чувства на память Ульриху пришла одна фраза. Фраза эта гласила: «Душа содомита могла бы пройти сквозь толпу как ни в чем не бывало, и в глазах ее светилась бы прозрачная улыбка ребенка; ибо все зависит от невидимого принципа». Это немногим отличалось от тех первых фраз, но в легкой своей преувеличенности сладковато пахивало испорченностью. И как оказалось, фраза эта была неотделима от определенного пространства, от комнаты с желтыми французскими брошюрами на столах, с портьерами

<sup>12</sup> Немецкий священник и философ (1260–1328).

из стекла вместо дверей, – и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распахнутую куриную тушку, чтобы вытащить сердце. Ибо эту фразу произнесла Диотима во время его визита. К тому же слова эти принадлежали одному современному писателю, которого Ульрих в юные годы любил, но потом привык считать салонным философом, а фразы, подобные этой, так же невкусны, как хлеб, если на него прольются духи, так что десятки лет ни с чем таким не хочется иметь дела.

Но как ни остро было отвращение, вызванное всем этим у Ульриха, сейчас ему все же показалось позорным, что он так и не возвращался ни разу в жизни к другим, настоящим фразам того таинственного языка. Ведь у него было особое, непосредственное понимание их, вернее сказать, близость, которая перескакивала через разумение; но целиком присоединиться к ним он никогда не решался. Они, такие фразы, в которых ему слышалось что-то братское, какая-то мягкая, темная, неведомо в чем состоящая искренность, противоположная повелительному тону математического и научного языка, – такие фразы пребывали среди его занятий, как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но, когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или представляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких черных, спящих в желто-сером свете холмов. Он вспомнил одно маленькое морское путешествие, один побег по правилу «поезжайте куда-нибудь», «переключитесь-ка на другое», – и уже точно знал, какое странное, полное смешного колдовства впечатление раз навсегда оттеснило назад своей пугающей силой все прочие сходные. На один миг сердце двадцатилетнего забило в его груди, волосатая кожа которой стала толще и огрубела за истекшие годы. Биение двадцатилетнего сердца в его тридцатидвухлетней груди показалось ему похожим на то, как если бы юноша вдруг непристойно поцеловал мужчину. И все-таки на сей раз он не уклонился от воспоминания. Это было воспоминание о странно кончившейся страсти, которую он в двадцать лет испытал к женщине, значительно старшей, чем он, по возрасту и, главное, по степени ее связанности домом.

Характерно, что он лишь едва помнил ее внешность; застывшая фотография и память о часах, когда он был один и думал о ней, вытеснила непосредственные воспоминания о лице, одежде, движениях и голосе этой женщины. Ее мир стал ему с тех пор настолько чужим, что тот факт, что она была женой майора, показался ему теперь забавно невероятным. «Ну, сейчас-то она уже, наверно, давно жена полковника в отставке и госпожа полковница», – подумал он. В полку рассказывали, что по образованию она артистка, пианистка, но никогда не выступала публично, сначала по воле семьи, а потом, в замужестве, это стало и вообще невозможно. На полковых праздниках она играла действительно прекрасно, с лучистым блеском хорошо позолоченного солнца, парящего над ущельями эмоций, и с самого начала Ульрих влюбился не столько в чувственное присутствие этой женщины, сколько в ее идею. Лейтенант, носивший тогда его фамилию, не отличался робостью; его глаз был уже наметан по части, так сказать, женской мелкоты и даже угадывал, случалось, слегка вытоптанную воровскую тропинку, ведущую к иной порядочной женщине. Но «великая любовь» была для этих двадцатилетних офицеров, если они вообще томились по ней, чем-то другим, это была некая идея: находясь вне пределов их авантюры, она была так бедна практическим опытом, а потому-то как раз и так ослепительна, как могут быть только совсем уж великие идеи. И поэтому, когда Ульрих впервые в жизни открыл в себе возможность осуществить эту идею, из этого ничего не вышло; майорше выпала тут роль последнего повода, провоцирующего вспышку болезни. Ульрих заболел любовью. А поскольку настоящая любовная болезнь есть не жажда обладания, а мягкое падение покровов с мира, его нежное самообнажение, ради которого охотно отказываешься от обладания возлюбленной, то лейтенант объяснял майорше мир так непривычно и так терпеливо, что ничего подобного она еще не встречала. Небесные тела, бактерии, Бальзак и Ницше бурлили в воронке

мыслей, острие которой, как она все яснее чувствовала, было направлено на неприличные, по тогдашним понятиям, различия, разделявшие ее тело и тело лейтенанта. Ее обескуражило это настойчивое связывание любви с вопросами, как она дотоле считала, никакого отношения к любви не имевшими; однажды на верховой прогулке, когда они шли рядом с лошадьми, она на мгновение задержала руку в руке Ульриха и с ужасом заметила, что рука ее как бы вдруг обесилела. В следующую секунду пламя побежало от их запястий к коленям, и молния ударила их, так что они чуть не рухнули на придорожный откос, где, усевшись на мох, они стали страстно целоваться и наконец смутились, потому что любовь была так велика и необыкновенна, что им, к их удивлению, не приходило на ум никаких других слов и действий, кроме обычных при таких объятиях. Забеспокоившиеся лошади высвободили наконец любящих из этой ситуации.

Любовь майорши и слишком юного лейтенанта так и осталась короткой и нереальной. Они оба были изумлены, они еще несколько раз прижимались друг к другу, они чувствовали оба, что что-то не так, и это тогда не позволило бы им дойти в объятиях до полной телесной близости, даже если бы они избавились от всяких помех одежды и приличий. Майорша не хотела противиться страсти, о которой не знала что и сказать, но втайне корила себя, думая о муже и о разнице в возрасте, и, когда Ульрих однажды, выставив какую-то наспех придуманную причину, сообщил ей, что должен уйти в долгосрочный отпуск, офицерская жена облегченно вздохнула сквозь слезы. А в любви Ульриха не было уже никакого другого желания, кроме того, чтобы из одной лишь любви уйти как можно скорей и как можно дальше от источника этой любви. Он уехал и ехал куда глаза глядят, пока взморье не преградило путь рельсам, затем переправился еще на лодке на ближайший увиденный остров и остался там, в незнакомом, случайном месте, остался, не смущаясь убогим жильем и столом, и в первую же ночь написал первое из серии длинных, так и не отправленных никогда писем к возлюбленной.

Эти по-ночному тихие письма, заполнявшие его ум и днем, он потом потерял; да таково и было, вероятно, их назначение. Вначале он еще много писал в них о своей любви и всякого рода мыслях, ею внушаемых, но вскоре это стало все больше вытесняться пейзажем. Солнце поднимало его по утрам, и, когда рыбаки были в море, а женщины и дети возле домов, он и осел, ошипывавший кусты и мшистые склоны скал между двумя маленькими поселками острова, казались единственными высшими живыми существами на этом рискованно выпятившемся клочке земли. Он подражал своему товарищу и поднимался на какую-нибудь каменную гряду или располагался где-нибудь на кромке острова в обществе моря, скал и неба. Сказано это без всякой претенциозности, ибо разница в размерах пропадала, да, впрочем, и разница между духом, животной и мертвой природой тоже пропадала в таком единении и уменьшались всякого рода различия между вещами. Говоря совершенно трезво, эти различия, конечно, не пропадали и не уменьшались, но они теряли значение, ты не был больше «подчинен никаким установленным людьми разграничениям» – в точности так, как то описывали объятые мистикой любви верующие, о которых юный лейтенант-кавалерист ничего ровным счетом тогда не знал. Он и не задумывался об этих явлениях, – как иной раз, словно охотник, напавший на след дичи, идешь по следам какого-нибудь наблюдения и обдумываешь его, – он даже, пожалуй, не замечал их, но он вбирал их в себя. Он погружался в пейзаж, хотя это в равной мере было невыразимым парением, и если мир проникал в его глаза, то смысл мира пробивался к нему изнутри беззвучными волнами. Он оказался в сердце мира; от него до далекой возлюбленной расстояние было такое же, как до ближайшего дерева; внутреннее чувство соединяло существа без пространства – подобно тому как во сне два существа могут пройти одно сквозь другое, не смешиваясь, – и меняло все их отношения. В остальном же это состояние ничего общего со сном не имело. Оно было ясным, и переполнено ясными мыслями; только ничего в нем не направлялось причиной, целью, плотским желанием, а все расширялось кругами, снова и снова, как если бы бесконечная струя вливалась в бассейн с водой. И это-то он и описывал в своих письмах, ничего больше. Это был совершенно изменившийся облик

жизни; все, составлявшее этот облик, не находилось в фокусе обычного внимания, теряло резкость контуров и виделось, пожалуй, немного расплывчато и туманно; но из других центров оно явно опять наполнялось нежной определенностью и ясностью, ибо все вопросы и факты жизни приобретали ни с чем не сравнимую кротость, мягкость, покойность и одновременно совершенно иной смысл. Если, к примеру, мимо руки думавшего проползал жук, то это не было приближением, сближением и удалением и не было человеком и жуком, а было неопишимо трогавшим сердце событием; даже и не событием, а, хоть оно и протекало, состоянием. И с помощью таких тихих открытий все, что вообще составляет обычную жизнь, получало, где бы Ульрих с этим ни сталкивался, совершенно иной смысл. И в этом состоянии любовь его к майорше тоже быстро приняла predeterminedный ей облик. Он иногда пытался представить себе эту женщину, о которой не переставал думать, и вообразить, чем занята она сию минуту, в чем ему сильно помогало точное знание ее быта; но, как только это удавалось и он видел перед собой возлюбленную, его чувство, ставшее таким ясновидящим, слепо, и он поневоле старался поскорее свести ее образ к блаженной уверенности в существовании для него где-то великой возлюбленной. Прошло немного времени, и она вовсе превратилась в безличный энергетический центр, в невидимый генератор его просветлений, и он написал ей последнее письмо, где объяснил, что жизнь ради великой любви не имеет, собственно, ничего общего с обладанием и желанием «будь моей», относящимися к области накопительства, приобретательства и обжорства. Это было единственное письмо, им отправленное, это, пожалуй, был апогей его любовной болезни, вскоре после которого она вдруг кончилась и прошла.

### 33. Разрыв с Бонадеей

Бонадея тем временем, устав глядеть в потолок, растянулась плашмя на диване, ее нежный материнский живот дышал в белом батисте, не стесненный корсетом и шнурками; она называла эту позу «собратиться с мыслями». Ей подумалось, что ее муж не только судья, но и охотник и порой с блеском в глазах говорит о преследующих дичь мелких хищниках; ей почудилось, что из этого должно последовать что-то благоприятное и для Моосбругера, и для его судей. С другой стороны, однако, ей не хотелось давать мужа в обиду любовнику в чем-либо, кроме любви. Ее семейная честь требовала, чтобы глава дома представлял человеком достойным и уважаемым. Поэтому она не пришла ни к какому решению. И пока это противоречие, как две бесформенно слившиеся стаи туч, тоскливо омрачало ее горизонт, Ульрих наслаждался свободой следования за своими мыслями. Продолжалось это, однако, довольно долго, и поскольку Бонадея так и не придумала ничего, что могло бы повернуть дело, к ней снова вернулась досада на оскорбительную небрежность Ульриха, и время, которое он пропускал, не заглаживая своей вины, стало ее раздражающе тяготить.

– По-твоему, значит, я поступаю нехорошо, когда прихожу к тебе?

Вопрос этот она в конце концов медленно и отчетливо ему задала, с грустью, но не без боевого задора.

Ульрих промолчал и пожал плечами: он давно забыл, о чем она говорила, но нашел ее в эту минуту невыносимой.

– Ты действительно способен упрекать за нашу страсть *меня*?

– За каждый такой вопрос цепляется столько ответов, сколько пчел в улье, – ответил Ульрих. – Вся душевная неразбериха человечества с его нерешенными вопросами цепляется препротивным образом за каждый в отдельности.

Сказал он, собственно, только то, о чем думал в этот день уже несколько раз, но Бонадея отнесла душевную неразбериху к себе и нашла, что это уж чересчур. Ей хотелось задернуть опять занавески, чтобы таким образом покончить с этой ссорой, но и зареветь от боли ей хотелось не меньше. И до нее вдруг дошло, что она надоела Ульриху. Благодаря своей природе она до сих пор теряла своих возлюбленных так, как это бывает с каким-нибудь предметом, который откладываешь и теряешь из виду, когда тебя привлекает что-то новое; или, бывало, разрыв с ними приходил так же скоропалительно, как союз, что, при всем личном огорчении, отдавало все-таки вмешательством высшей силы. Поэтому, когда она встретила спокойное сопротивление Ульриха, первым ее чувством было, что она постарела. Ей стало стыдно, что она беспомощно и непристойно лежит на диване и полураздетая сносит всякие оскорбления. Она, не раздумывая, выпрямилась и схватила свою одежду. Но шелестящие шорохи шелковых чаш, в которые она ускальзывала, не побуждали Ульриха к раскаянию. Острая боль бессилия затмила глаза Бонадеи. «Он грубиян, он нарочно меня обидел!» – твердила она себе. «Он не шевелится!» – установила она. И с каждой завязанной ею тесемкой, с каждым застегнутым крючком она все глубже погружалась в черный, как бездна, колодец давно забытой детской боли – покинутости. Сгущались сумерки; лицо Ульриха виделось как бы в последнем свете, жестокое и грубое, пробивалось оно сквозь мрак горя. «Как я только могла любить это лицо?!» – спрашивала себя Бонадея; но одновременно фраза «Потерян навеки!» судорожно сжимала ей грудь.

Ульрих, догадывавшийся о ее решении не возвращаться, ей не мешал. Бонадея энергичным движением поправила волосы перед зеркалом, затем надела шляпу и опустила вуаль. Теперь, когда вуаль закрыла лицо, все ушло в прошлое; это было торжественно, как смертный приговор или как защелкивается замок чемодана. Он больше не сможет ее целовать и не подозревает, что упускает последнюю возможность!

От жалости она готова была броситься ему на шею и выплакаться.

### 34. Горячий луч и остывшие стены

Когда Ульрих проводил Бонадею вниз и снова остался один, у него уже не было желания продолжать работу. Он вышел на улицу с намерением отправить к Вальтеру и Клариссе посыльного с несколькими строчками и сообщить им, что навестит их сегодня вечером. Проходя маленьким валом, он заметил на стене олени рога, в них было движение, похожее на то, каким Бонадея перед зеркалом опускала вуаль, только они не улыбались со смиренным видом. Он оглянулся, озирая свое окружение. Все эти линии, округлые, пересекающиеся, прямые, изгибы и сплетения, из которых состоит меблировка квартиры и которые скопились вокруг него, не были ни природой, ни внутренней необходимостью, нет, в них все, до последней мелочи, было полно витиеватой пышности. Ток и сердцебиение, постоянно пронизывающие все предметы нашего окружения, на миг прекратились. «Я лишь случайна», – ухмыльнулась необходимость; «я не очень-то отличаюсь по виду от лица больного волчанкой, если глядеть на меня без предвзятых», – призналась красота. Ничего особенного для этого, в сущности, не требовалось; слетел лоск, исчезло внушение, ожидание и напряжение ушли, нарушилось на секунду подвижное, тайное равновесие между чувством и миром. Все, что ты чувствуешь и делаешь, идет как-то «в направлении жизни», и малейший отход от этого направления тяжел или страшен. Это совершенно так же, как при простой ходьбе: поднимаешь центр тяжести, продвигаешь его вперед и опускаешь; но стоит лишь изменить в этом какую-нибудь мелочь, немножко испугаться этой готовности упасть в будущее или хотя бы удивиться ей – и уже невозможно держаться на ногах! Нельзя об этом задумываться. И у Ульриха мелькнула мысль, что во все решающие мгновения его жизни у него бывало чувство, подобное этому.

Он подозвал посыльного и передал ему записку. Было около четырех часов дня, и он решил медленно пройти пешком. Весенне-осенний день привел его в восторг. Воздух бродил. В лицах людей было что-то от плавающей пены. После однообразного напряжения своих мыслей в последние дни он чувствовал себя перенесенным из темницы в мягкую ванну. Он старался шагать приветливо и раскованно. В натасканном гимнастикой теле столько готовности к движению и борьбе, что сегодня это показалось ему неприятным, как лицо старого комедианта, полное часто играемых ложных страстей. Точно так же стремление к правде наполнило его естество формами движения ума, разложило это естество на хорошо противоборствующие друг другу группы мыслей и придало ему, строго говоря, ложное и комедиантское выражение, какое принимает все, даже сама искренность, как только делается привычкой. Так думал Ульрих. Он тек как волна сквозь волны-собратья, если так можно сказать; а почему нельзя так сказать, когда наработавшийся в одиночестве человек возвращается в общество и испытывает счастье оттого, что он течет туда же, куда и оно!

В такой миг нет, наверно, ничего более далекого, чем представление, что жизнь, которую они ведут и которая ведет их, затрагивает людей не сильно, не внутренне. Тем не менее каждый знает это, пока он юн. Ульрих вспомнил, как выглядел для него такой день на этих же улицах десяток или полтора десятка лет назад. Тогда все было вдвое великолепнее, и, однако, в этом кипении желаний очень явственным было мучительное предчувствие плена; беспокойное чувство: все, чего я, как мне думается, достигаю, достигает меня; гложащее предощущение, что в этом мире ложные, небрежные и не имеющие личной важности слова отзовутся сильнее, чем самые точные и самые истинные. Эта красота? – думалось тогда, – ну, что ж, превосходно, но разве она моя? Разве истина, которую я узнаю, моя истина? Цели, голоса, реальность, все то соблазнительное, что манит и направляет, за чем следуешь и во что бросаешься – реальная ли это реальность или от нее виден всего только налет, неуловимо лежащий на предложенной нам реальности?! Готовые разряды и формы жизни – вот что так ощутимо для недоверия, это «все то же», эти созданные уже многими поколениями заготовки, готовый язык не только слов, но

и ощущений и чувств. Ульрих остановился перед церковью. Боже мой, если бы здесь в тени сидела исполинская матрона с большим, ступенчато падающим животом, прислонив спину к стенам домов, а наверху, в тысяче складок, на бугорках и пупырышках ее лица, лежал свет заката – разве он с такой же легкостью не мог бы найти красивым и то? Бог мой, ведь как это было красиво! Ты же ведь отнюдь не отмахиваешься от того, что рожден с обязанностью восхищаться этим; но, как сказано уже, не было бы ничего невозможного и в том, чтобы найти красивыми широкие, спокойно свисающие формы и филигрань складок достопочтенной матроны, проще только сказать, что она древняя. И этот переход от признания мира древним к признанию его красивым таков же примерно, как переход от умонастроения молодых людей к более высокой морали взрослых, которая остается смешным назиданием до тех пор, пока вдруг сам не усвоишь ее. Ульрих стоял перед этой церковью всего несколько секунд, но они разрослись в глубину и сжали его сердце всей мощью инстинктивного первоначального сопротивления этому затвердевшему в миллионы центнеров камню миру, этому застывшему лунному ландшафту чувства, куда ты брошен помимо твоей воли.

Возможно, что большинству людей служит приятной поддержкой тот факт, что они застают мир уже готовым, за вычетом нескольких мелочей личного характера, и не подлежит никакому сомнению, что существующая во всем устойчивость не только консервативна, но и являет собой основу всяких прогрессов и революций, хотя нельзя не сказать и о смутном, но глубоком беспокойстве, испытываемом при этом людьми, живущими на свой риск. Когда Ульрих, с полным пониманием архитектурных тонкостей, рассматривал это священное здание, до его сознания вдруг поразительно живо дошло, что и людей пожирать можно было бы с точно такой же легкостью, как строить или сохранять подобные достопримечательности. Дома по соседству, потолок неба над ними, вообще какое-то невыразимое согласие всех линий и пространств, встречавших и направлявших взгляд, вид и выражение лиц людей, проходивших мимо внизу, их книги и их мораль, деревья на улице... – ведь все это иногда такое же жесткое, как ширма, и такое же твердое, как штамп пресса, и такое – не скажешь иначе – завершенное, такое завершенное и готовое, что рядом с этим ты как ненужный туман, как вытолкнутый при выдохе воздух, до которого Богу нет больше дела. В этот миг он пожелал себе быть человеком без свойств. Но совсем иначе не бывает, наверно, вообще ни с кем. В сущности, мало кто в середине жизни помнит, как, собственно, они пришли к самим себе, к своим радостям, к своему мировоззрению, к своей жене, к своему характеру, но у них есть чувство, что теперь изменится уже мало что. Можно даже утверждать, что их обманули, ибо нигде не видно достаточной причины, чтобы все вышло именно так, как вышло; могло выйти и по-другому: ведь события редко определялись ими самими, чаще они зависели от всяческих обстоятельств, от настроения, от жизни, от смерти совсем других людей, а на них как бы только налетали в тот или иной момент. В юности жизнь еще лежала перед ними, как неистощимое утро, полная, куда ни взгляни, возможностей и пустоты, а уже в полдень вдруг появилось нечто смеющее притязать на то, чтобы быть отныне их жизнью, и в целом это так же удивительно, как если к тебе вдруг явится человек, с которым ты двадцать лет переписывался, не зная его, и ты представлял себе его совершенно иначе. Но куда более странно то, что большинство людей этого вовсе не замечает; они усыновляют явившегося к ним человека, чья жизнь в них вжилась, его былое кажется им теперь выражением их свойств, и его судьба – это их заслуга или беда. Нечто обошлось с ними как липучка с мухой, зацепило волосок, задержало в движении и постепенно обволокло, похоронило под толстой пленкой, которая соответствует их первоначальной форме лишь отдаленно. И лишь смутно вспоминают они уже юность, когда в них было что-то вроде силы противодействия. Эта другая сила копошится и ерепенится, она никак не хочет угомониться и вызывает бурю бесцельных попыток бегства; насмешливость юности, ее бунт против существующего, готовность юности ко всему, что героично, к самопожертвованию и преступлению, ее пылкая серьезность и ее непостоянство – все это не что иное, как ее попытки бегства.

Выражают они, по сути, только то, что ни в одном начинании молодого человека нет внутренней необходимости и бесспорности, хотя и выражают это таким манером, словно все, на что он ни бросится, крайне необходимо и неотложно. Кто-нибудь изобретает какой-нибудь великолепный новый жест, внешний или внутренний... Как это объяснить? Позу, в которой живешь? Форму, в которую внутреннее содержание накачивается, как газ в баллон? Внешнее выражение того, что давит изнутри? Технику бытия? Это могут быть новые усы или новая мысль. Это лицедейство, но, как всякое лицедейство, оно, конечно, имеет смысл – и тут же, как воробьи с крыш, если насыпать им корму, бросаются на это юные души. Нужно только представить себе: если снаружи на язык, руки и глаза давит тяжелый мир, остывшая луна земли – домов, обычаев, картин и книг, а внутри – ничего, кроме никак не укладывающегося тумана, какое же это счастье увидеть чью-то ужимку, в которой, как тебе кажется, ты узнаешь самого себя. Есть ли что-либо естественнее, чем то, что всякий страстный человек овладевает этой новой формой раньше обыкновенных людей?! Она дарит ему мгновение бытия, равновесия между внутренним и внешним напряжением, между тем, что его раздавливает, и тем, что его разрывает. Не на чем другом, – думал Ульрих, и, конечно, все это затрагивало и лично его, он держал руки в карманах, а лицо его выглядело таким тихим и сонно-счастливым, словно он умирал сладостной смертью, замерзая в струившихся лучах солнца, – не на чем другом, как на этом, – думал он, – основан и тот вечный феномен, который называют новым поколением, отцами и детьми, духовным переворотом, переменой стиля, развитием, модой и обновлением. В перпетуум мобиле эту тягу существования к новизне превращает та беда, что между туманным собственным и уже застывшим в чужой панцирь «я» предшественников вставляется опять-таки лишь мнимое «я», лишь приблизительно подходящая групповая душа. И если только немного напрячь внимание, то, наверно, всегда можно увидеть в только что наступившем последнем будущем уже грядущее Старое Время. Новые идеи тогда только на тридцать лет старше, но удовлетворены и обросли жирком или отжили свое, – так рядом с сияющим лицом девочки видишь погасшее лицо ее матери; или же они не имели успеха, зачахли и скрючились в проект реформы, отстаиваемый каким-нибудь старым болваном, которого пятьдесят его почитателей называют «великий Такой-то».

Он снова остановился, на сей раз на площади, где узнал несколько домов и вспомнил об общественных стычках и идейных волнениях, сопровождавших их строительство. Он подумал о друзьях своей юности; все они были друзьями его юности, знал ли он их лично или только по имени, были ли они одного с ним возраста или старше, бунтари, желавшие создать новые вещи и новых людей, и было ли это здесь или во всех других местах мира, которые он узнал. Теперь эти дома стояли в предвечернем, уже бледневшем свете, как добропорядочные тетюшки в старомодных шляпах, мило, неприметно и уж никак не волнующе. Хотелось усмехнуться. Но люди, оставившие эти уже непритязательные реликты, сделались между тем профессорами, знаменитостями и именами, известной частью известного прогрессивного развития, они более или менее коротким путем перешли из туманного в застывшее состояние, и поэтому история когда-нибудь скажет о них по ходу описания их столетия: а жили в то время...

### 35. Директор Лео Фишель и принцип недостаточного основания

В этот миг Ульриха прервал один знакомый, который неожиданно к нему обратился. Как раз в тот день, открыв утром перед уходом из дому свой портфель, этот знакомый обнаружил в малоупотребительном его отделении, что было для него неприятным сюрпризом, циркуляр графа Лейнсдорфа, на который давно забыл ответить, потому что его здоровый деловой ум не жаловал исходивших от высших кругов патриотических акций. «Пустое дело», – наверно, сказал он себе тогда; ни в коем случае он не сказал бы этого публично, но его память – так уж устроена память – сыграла с ним злую шутку, подчинившись первой, эмоциональной и неофициальной реакции и небрежно отмахнувшись от этого дела, вместо того чтобы дожидаться продуманного решения. И поэтому в письме, когда он снова его открыл, оказалось нечто крайне ему неприятное, чего он раньше вообще не заметил: было это, собственно, только одно выражение, одно словечко, повторявшееся в послании в разных местах, но оно стоило этому статному мужчине с портфелем в руке нескольких минут нерешительности перед уходом, и слово это было «истинный».

Директор Фишель – ибо так он именовался, директор Лео Фишель из Ллойд-банка, всего только, собственно, управляющий со званием директора; Ульрих мог считать себя его младшим другом в прошлом и в последний свой приезд был в довольно дружеских отношениях с его дочерью Гердой, но после возвращения посетил ее всего один раз, – директор Фишель знал его сиятельство как человека, заставляющего свои деньги работать и идущего в ногу со временем, более того, проверяя заметы своей памяти, он «котировал его» – таков деловой термин – как лицо очень важное, ибо Ллойд-банк был одним из тех учреждений, которым граф Лейнсдорф поручал свои биржевые дела. Поэтому Лео Фишель не мог понять небрежности, с какой он отнесся к столь трогательному приглашению его сиятельства, призывавшего избранный круг людей приготовиться к великому совместному труду. Сам он, собственно, вошел в этот круг лишь благодаря особым обстоятельствам, которые будут упомянуты позже, – и все это объясняло, почему он бросился к Ульриху, как только его увидел; он узнал, что Ульрих связан с этим делом, да еще к тому же «играет важную роль» – что было одним из тех непонятных, но нередких утверждений молвы, которые верно передают факты еще до того, как они стали фактами, – и теперь нацелил на него, как трехствольный пистолет, три вопроса – что, собственно, понимает он под «истинной любовью к отечеству», «истинным прогрессом» и «истинной Австрией»?!

Всполошенный, но еще пребывавший в прежнем своем настроении Ульрих ответил в той манере, в какой он всегда разговаривал с Фишелем:

– ПНО.

– Что? – Директор Фишель простодушно повторил это по буквам, не думая на сей раз ни о каких шутках, ибо хотя подобные сокращения тогда еще не были так распространены, как теперь, их знали по картелям и трестам, и они внушали большое доверие. Но потом он все-таки сказал: – Пожалуйста, без шуток; я тороплюсь, у меня совещание.

– Принцип недостаточного основания! – повторил Ульрих. – Вы же философ и, наверно, знаете, что понимают под принципом недостаточного основания. Человек делает исключение из этого правила только для самого себя: в нашей реальной, то есть в нашей личной и нашей общественно-исторической жизни всегда происходит то, на что, собственно, нет должного основания.

Лео Фишель поколебался – возразить или нет: директор Лео Фишель из Ллойд-банка любил пофилософствовать, есть еще такие люди на практическом поприще, но он действительно торопился; поэтому он ответил:

– Вы не хотите меня понять. Я знаю, что такое прогресс, я знаю, что такое Австрия, и, наверно, знаю также, что такое любовь к отечеству. Но я, пожалуй, не способен вполне ясно представить себе, что такое истинная любовь к отечеству, истинная Австрия и истинный прогресс. И об этом я вас и спрашиваю!

– Хорошо; знаете ли вы, что такое энзим или что такое катализатор?

Лео Фишель лишь отклоняюще поднял руку.

– Материально это ничего не приносит, но это приводит вещи в движение. Вы должны знать из истории, что никогда не было истинной веры, истинной нравственности и истинной философии; тем не менее развязанные из-за них войны, пакости и козни плодотворно преобразили мир.

– В другой раз! – взмолился Фишель и попытался сыграть в откровенность. – Поймите, мне приходится иметь с этим дело на бирже, и я действительно хочу знать настоящие намерения графа Лейнсдорфа: какую цель преследовал он этим добавлением слова «истинный»?

– Клянусь вам, – ответил Ульрих серьезно, – что ни я, ни кто-либо вообще не знает, что такое истинный, истинная, истинное; но могу вас заверить, что оно собирается претвориться в действительность!

– Вы циник! – заявил директор Фишель и поспешил прочь, но, сделав шаг, обернулся и поправился: – Как раз недавно я говорил Герде, что из вас вышел бы великолепный дипломат. Надеюсь, вы скоро к нам заглянете.

### **36. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое**

Директор Лео Фишель из Ллойд-банка, как все директора банков перед войной, верил в прогресс. Как специалист своего дела, он знал, конечно, что убеждение, на которое ты сам рискнешь поставить, можно иметь только насчет того, в чем ты действительно хорошо разбираешься; невероятное размножение видов деятельности закрывает связанным с ними знаниям доступ к чему-либо другому. Поэтому у дельных и работающих людей нет, кроме как в их самой узкой специальной области, таких убеждений, которыми бы они тотчас не поступились, едва почувствовав нажим извне; в пору даже сказать, что они просто по добросовестности вынуждены действовать иначе, чем думают. У директора Фишеля, к примеру, с истинной любовью к отечеству и с истинной Австрией не связывалось вообще никаких представлений, зато насчет истинного прогресса у него было личное мнение, и оно, конечно, отличалось от мнения графа Лейнсдорфа; замученный закладами и векселями или чем там он еще ведал, не зная другого отдыха, кроме как кресло в опере раз в неделю, он верил в общий прогресс, который должен был как-то походить на картину возрастающей прибыли его банка. Но когда граф Лейнсдорф, показывая, что и это он знает лучше, начал давить на совесть Лео Фишеля, тот почувствовал, что «знать никогда не дано» (кроме как насчет закладов и векселей), а поскольку, хоть знать и не дано, оплошать, с другой стороны, тоже не хочется, он решил спросить невзначай своего генерального директора, что тот думает об этой затее.

Когда он, однако, исполнил свое намерение, генеральный директор успел уже по сходным причинам переговорить об этом с главой Государственного банка и был вполне в курсе дела. Ибо не только генеральный директор Ллойд-банка, но, разумеется, и глава Государственного банка получил приглашение от графа Лейнсдорфа, а Лео Фишель, всего-навсего заведующий отделом, получил приглашение вообще лишь благодаря семейным связям жены, которая была родом из высшей бюрократии и никогда не забывала этого факта, ни в светских своих отношениях, ни в домашних раздорах с Лео. Поэтому, говоря со своим начальником о параллельной акции, он ограничился тем, что многозначительно качал головой, что значило теперь «великое дело», но и «пустое дело» тоже сошло бы; покачивание головой не могло повредить ни при каких обстоятельствах, но из-за своей жены Фишель, пожалуй, обрадовался бы больше, если бы дело оказалось пустым.

Пока, однако, у самого фон Мейер-Баллота, того главы банка, с которым советовался генеральный директор, впечатление было прекрасное. Получив «обращение» графа Лейнсдорфа, он подошел к зеркалу, – хотя, вполне естественно, и не по этой причине, – и оттуда, поверх фрака и орденских ленточек, на него взглянуло благополучное лицо буржуазного министра, лицо, в котором разве что где-то в глубине глаз еще сохранилось что-то от жестокости денег, а пальцы его повисли на руках, как флаги в безветрие, словно им никогда в жизни не приходилось выполнять торопливых счетных движений банковского ученика. Этот финансовый туз, приобретший бюрократический лоск и уже почти ничего общего не имевший с голодными, повсюду рыщущими дикими псами биржевой игры, видел перед собой неопределенные, но хорошо темперированные возможности и уже в тот же вечер имел случай утвердиться в этом ощущении, поговорив в Промышленном клубе с бывшими министрами фон Гольцкопфом и бароном Виснечки.

Оба они были хорошо осведомленными, аристократичными и сдержанными обладателями каких-то высоких постов, на которые их отодвинули, когда снова отпала нужда в том промежуточном между двумя политическими кризисами правительстве, куда они входили; это

были люди, прожившие жизнь на службе государству и короне и никогда не выступавшие на первый план, кроме как по призыву своего Высочайшего Повелителя. Они знали о слухе, что великая акция будет тонко направлена против Германии. И до, и после провала своей миссии они были убеждены, что огорчительные обстоятельства, уже тогда сделавшие политическую жизнь двуединой монархии очагом заразы для всей Европы, чрезвычайно запутанны. Но точно так же, как до провала, они, получив соответствующий приказ, чувствовали себя обязанными считать эти трудности разрешимыми, они и теперь не исключали, что средствами, которые предлагал граф Лейнсдорф, можно чего-то достигнуть: нет, они чувствовали, что «веха», «блестящее свидетельство жизненной силы», «мощное внешнеполитическое выступление, оказывающее благотворное действие и на внутреннюю обстановку», – что все эти пожелания сформулированы графом Лейнсдорфом настолько удачно, что не отозваться на них так же немислимо, как если бы потребовали, чтобы откликнулся каждый, кто желает добра.

Возможно, конечно, что как у людей сведущих и опытных в делах общественных, кое-какие опасения у Гольцкопфа и у Виснечки все-таки были, тем более что можно было предположить, что какая-то роль в дальнейшем развитии этой акции назначена им самим. Но людям, никуда не поднявшимся, легко быть критичными и отклонять что-то, что им не подходит; если твоя гондола жизни вознесла тебя на трехсотметровую высоту, то из нее так просто не вылезешь, даже если ты не со всем согласен. А поскольку в этих кругах бывают действительно лояльны и, в отличие от вышеупомянутой буржуазной толпы, не любят поступать иначе, чем думают, то во многих случаях здесь довольствуются тем, что не задумываются о чем-либо слишком уж глубоко. Вот почему глава банка фон Мейер-Баллот еще более утвердился в своем благоприятном впечатлении от этого дела, выслушав рассуждения обоих сановников: и хотя он лично, да и в силу своей профессии, склонен был к известной осторожности, услышанного было все-таки достаточно, чтобы решить, что это одно из тех дел, при дальнейшем развитии которых надо во что бы то ни стало выжидательно присутствовать.

Между тем параллельной акции тогда, собственно, еще не существовало, и в чем она будет состоять, не знал еще даже граф Лейнсдорф. Во всяком случае, единственно определенным, что ему к тому времени пришло на ум, был, можно с уверенностью сказать, ряд имен.

Но и это необычайно много. Ведь, значит, уже тогда, не требуя ни от кого никаких конкретных представлений, существовала сеть готовности, охватывавшая большой круг связей; и можно, пожалуй, утверждать, что это правильная последовательность. Ведь сперва надо было изобрести нож и вилку, а уж потом человечество научилось пристойно есть; так выразил эту ситуацию граф Лейнсдорф.

### **37. Один публицист доставляет изобретением «австрийского года» большие неприятности графу Лейнсдорфу; его сиятельство крайне нуждается в Ульрихе**

Хотя граф Лейнсдорф и направил свои призывы, которые должны были «будить мысль», в самые разные стороны, он все-таки не продвинулся бы вперед так скоро, если бы один влиятельный публицист, узнавший, что что-то носится в воздухе, быстро не напечатал в своей газете двух больших статей, где как собственную инициативу высказал все, что, по его предположению, сейчас заваривалось. Знал он немного – да и откуда ему было узнать? – но это не было заметно, более того, это как раз и дало обеим его статьям возможность увлечь читателей. Он-то и был изобретателем идеи «австрийский год», о которой он, сам не представляя себе, что под этим имелось в виду, строил все новые и новые фразы, благодаря чему это словосочетание связалось, как во сне, с другими словами, вошло в обиход и вызвало невероятный энтузиазм. Граф Лейнсдорф сначала ужасался, но напрасно. По словосочетанию «австрийский год» можно судить, что такое публицистический гений, ибо открыл эту формулу верный инстинкт. Она заставляла звучать чувства, которые идея австрийского века оставила бы немymi, а уж призыв начать таковой люди разумные сочли бы причудой, просто не заслуживающей серьезного к себе отношения. Почему это так, трудно сказать. Может быть, какая-то неточность и символичность, при которой о реальности думают меньше обычного, окрыляла не только чувство графа Лейнсдорфа. Ибо неточность обладает возвышающей и увеличительной силой.

Похоже, что добропорядочно-практичный реалист реальность никогда всем сердцем не любит и не принимает всерьез. Ребенком он залезает под стол, чтобы этим гениально простым приемом придать комнате родителей, когда их нет дома, необычайный и фантастический вид; мальчиком он мечтает о часах; юношей с золотыми часами – о подходящей к ним жене; мужчиной с часами и женой – о высоком положении; и, когда он счастливо завершает этот малый круг желаний и спокойно качается в нем, как маятник, похоже, что его запас несбывшихся мечтаний так и не становится хоть сколько-то меньше. Ибо, когда он хочет возвыситься, он прибегает к сравнению, символу. Явно по той причине, что снег иногда неприятен ему, он сравнивает его с белеющими женскими грудями, а как только ему наскучат груди его жены, он сравнивает их с белеющим снегом; он пришел бы в ужас, если бы ее губки оказались однажды роговидным голубиным клювом или вставными кораллами, но поэтически это его волнует. Он в состоянии превратить все во все – снег в кожу, кожу в лепестки, лепестки в сахар, сахар в пудру, а пудру снова в сыплющийся снег, – ибо, кажется, ничего ему так не нужно, как превращать что-либо в то, чем оно не является, а это, пожалуй, доказывает, что, где бы он ни находился, ему нигде долго не выдержать. Но пуще всего не выдерживал внутренне настоящий каканец жизни в Какании. И, если бы от него потребовали австрийского века, это показалось бы ему адской мукой, которой только в насмешку можно добровольно подвергнуть себя и мир. Совсем другое дело был австрийский год. Это значило: давайте-ка покажем, кем мы, собственно, можем быть; но, так сказать, временно, до отмены, максимум в течение года. Подразумевать под этим можно было что угодно, речь же не шла о вечности, а сердце от этого согревалось невыразимо. Это пробуждало глубочайшую любовь к отечеству.

Вот как вышло, что граф Лейнсдорф снискал неожиданный успех. Ведь и он первоначально напал на свою идею как на такой символ, но, кроме того, ему пришел на ум ряд имен, и его нравственная природа стремилась выйти из состояния нетвердости; он отчетливо сознавал, что фантазию народа, или, как он сказал теперь одному преданному ему журналисту, фантазию публики надо направить на цель, которая была бы ясной, здоровой, разумной и согласной с истинными целями человечества и отечества. Журналист этот, подхлестнутый успехом своего

коллеги, тотчас же все это накатал, а поскольку перед своим предшественником он обладал тем преимуществом, что узнал это из «первоисточника», то техника его ремесла потребовала, чтобы он крупным шрифтом сослался на эту «информацию, полученную из влиятельных кругов», а этого-то как раз и ждал от него граф Лейнсдорф, ибо его сиятельство считал очень важным для себя быть реалистическим политиком, а не идеологом, и хотел провести тонкую черту между австрийским годом гениального публицистического ума и рассудительностью ответственных кругов. Для этого он воспользовался техникой вообще-то не жалуемого им как образец Бисмарка – выражать истинные намерения устами газетных писак, чтобы иметь возможность в зависимости от обстановки признать эти свои намерения или отречься от них.

Но, действуя так умно, граф Лейнсдорф не учитывал одного. Не только такой человек, как он, видел то истинное, что нам нужно, но и несметное множество других людей мнит, что они обладают истиной. Это можно, пожалуй, назвать отвердевшей формой того вышеупомянутого состояния, в котором еще прибегают к сравнениям. Раньше или позже пропадает радость и от них, и тогда многие, в ком застревает толика окончательно неудовлетворенных мечтаний, облюбовывают себе какую-то одну точку, в которую тайно вперяются, словно там начинается мир, недоданный им. Уже вскоре после распространения своей информации через газету его сиятельство, как ему показалось, заметил, что все, у кого нет денег, носят в себе взамен какого-то неприятного сектанта. Этот своенравный человек в человеке ходит с ним по утрам на службу и вообще никаким действенным образом не может протестовать против хода вещей, но зато он всю свою жизнь не отрывает глаз от одной тайной точки, никем другим упорно не замечаемой, хотя там-то явно и начинаются все беды мира, который не узнает своего спасителя. Такими облюбованными точками, где центр тяжести личности совпадает с центром тяжести мира, являются, например, плевательница, запирающаяся простым движением руки, или отмена в ресторанах солонок, в которые лезут ножами, благодаря чему одним махом приостанавливается распространение бичующего человечество туберкулеза, или введение стенографической системы «Эль», решающей заодно, благодаря беспримерной экономии времени, и социальную проблему, или пропаганда естественного, останавливающего повсеместное опустошение земли образа жизни, но также и какая-нибудь метафизическая теория движения небесных тел, упрощение административного аппарата или какая-нибудь реформа половой жизни. Если обстоятельства благоприятствуют человеку, он ублажает себя тем, что в один прекрасный день пишет книгу о своем пунктике, или брошюру, или хотя бы газетную статью и этим как бы подшивает к делам человечества протокол своего протеста, что невероятно успокаивает, даже если написанного им никто не читает; но обычно это кого-нибудь да привлекает, и такие люди уверяют автора, что он новый Коперник, после чего представляют ему себя как непонятых Ньютонов. Этот обычай взаимовычесывания пунктиков очень благотворен и распространен, но действует недолго, потому что участники вскоре ссорятся и остаются опять совершенно одни; случается, однако, что тот или иной собирает вокруг себя небольшой круг поклонников, которые единодушно клянут небо за то, что оно не оказывает достаточной поддержки помазанному своему сыну. И если на такие кучки с пунктиками вдруг упадет луч надежды с заоблачной высоты, как то случилось, когда граф Лейнсдорф позволил публично заявить, что австрийский год, если таковой действительно состоится, хотя последнее еще неизвестно, будет во всяком случае отвечать истинным целям бытия, – если на них вдруг упадет луч надежды, то они воспринимают это как святые, которым посылает видение Бог.

Граф Лейнсдорф полагал, что его детище будет мощной демонстрацией, поднимающейся из самой гущи народа. Он думал при этом об университете, о духовенстве, о некоторых именах, всегда фигурировавших в отчетах о благотворительных начинаниях, думал даже о газетах; он принимал в расчет патриотические партии, «здравый смысл» буржуазии, вывешивающей флаги в день рождения кайзера, и поддержку финансовых тузов, принимал он в расчет и политику, втайне надеясь сделать именно ее, благодаря своему великому детищу, излишней,

привести к общему знаменателю «отчая земля», который он намеревался позднее разделить на «землю», чтобы единственным итогом остался властитель-отец; но об одном его сиятельство не подумал, и он был поражен широко распространенной потребностью улучшить мир, которая от тепла великого случая созревает, как яйца насекомых во время пожара. Этого его сиятельство не принял в расчет; он ожидал очень большого патриотизма, но он не был подготовлен к открытиям, теориям, системам мира и людям, требовавшим от него освобождения из духовных тюрем. Они осаждали его дворец, славили параллельную акцию как возможность помочь наконец прорваться правде, и граф Лейнсдорф не знал, что ему с ними делать. Сознавая свое общественное положение, он ведь не мог сесть со всеми этими людьми за один стол, а с другой стороны, как человек высоконравственного ума, не хотел их избегать, и, поскольку образование у него было политическое и философское, но отнюдь не естественное и не техническое, он никак не мог разобраться, есть ли в этих предложениях что-то дельное или нет.

В этой ситуации он все сильнее тосковал по Ульриху, рекомендованному ему как именно тот человек, в котором он нуждался, ибо его секретарю, да и вообще любому обыкновенному секретарю, такие задачи были, конечно, не по плечу. Один раз, очень уж рассердившись на своего служащего, он даже помолился Богу, – хотя на следующий день устыдился этого, – чтобы Ульрих наконец явился к нему. И, когда этого не последовало, его сиятельство сам начал систематические розыски. Он велел заглянуть в адресный справочник, но Ульриха там еще не было. Затем он направился к своей приятельнице Диотиме, которая обычно знала, как быть, и в самом деле, эта восхитительная женщина уже успела поговорить с Ульрихом, но она забыла узнать, где он живет, или сослалась на это, чтобы воспользоваться случаем и предложить его сиятельству другую, куда лучшую кандидатуру на пост секретаря великой акции. Но граф Лейнсдорф был очень взволнован и решительно заявил, что уже привык к Ульриху, что ему не нужен пруссак, хотя бы и пруссак-реформатор, и что он вообще не хочет больше никаких осложнений. Он смутился, когда его приятельница показала ему, что обижена, и тут его осенила самостоятельная мысль; он объявил ей, что тотчас поедет прямо к своему другу, начальнику полиции, который, в конце концов, может добыть адрес любого подданного.

## 38. Кларисса и ее демоны

Когда пришло письмо Ульриха, Вальтер и Кларисса снова так бурно играли на рояле, что плясала тонконогая, фабричного производства художественная мебель и дрожали на стенах гравюры Данте Габриэля Россетти. Старику-посыльному, заставшему все двери открытыми и никем не задержанному, ударили в лицо громы и молнии, когда он пробрался к гостиной, и священный гул, в который он вступил, заставил его благоговейно прижаться к стене. Освободила его Кларисса, разрядив наконец двумя мощными ударами неунимавшийся музыкальный восторг. Пока она читала письмо, прерванный поток еще лился, извиваясь, из рук Вальтера; мелодия побежала, дергаясь, как аист, а потом расправила крылья. Кларисса недоверчиво следила за этим, разбирая записку Ульриха.

Когда она сообщила Вальтеру о предстоящем приходе их друга, он сказал: «Жаль!»

Она снова села с ним рядом на вращающийся табурет, и улыбка, которую Вальтер почему-то нашел жестокой, разомкнула ее чувственные с виду губы. Это был тот миг, когда играющие задерживают ток крови, чтобы начать в одном ритме, и оси глаз торчат у них из голов, как четыре одинаково направленных длинных стержня, а сидалищами они напряженно удерживают на месте всегда норовящий качнуться на длинной шее своего винта табурет.

В следующий миг Кларисса и Вальтер уже рвались вперед, как два несущихся рядом локомотива. Пьеса, которую они играли, летела им в глаза, как сверкающие полосы рельсов, исчезала в грохочущей машине и ложилась позади них звенящим, слышимым, никуда каким-то чудом не отступающим ландшафтом. Во время этой неистовой езды все, что чувствовали эти два человека, сжималось воедино; слух, кровь, мышцы безвольно отдавались одному и тому же ощущению; мерцающие, клонящиеся стены звуков направляли их тела в одну колею, сгибали их разом, расширяли и теснили грудь единым вздохом. В одни и те же доли секунды Вальтера и Клариссу пронзали веселье, грусть, злость и страх, любовь и ненависть, желание и пресыщение. Это было слияние воедино, похожее на слияние в великом ужасе, когда сотни людей, еще только что во всем различных, одинаково гребут воздух руками, пытаясь убежать, издают одинаковые нелепые крики, одинаково разевают рты и таращат глаза, когда всех вместе бросает вперед и назад, влево и вправо бессмысленная сила, когда все вместе орут, трепещут, мечутся и дрожат. Но не было у этого слияния той тупой всеподавляющей силы, что есть у жизни, где подобное случается не с такой легкостью, но зато без сопротивления уничтожает все личное. Злость, любовь, счастье, веселье и грусть, которыми на лету проникались Кларисса и Вальтер, не были полными чувствами, а были только чуть большим, чем их взбудораженная до буйства телесная оболочка! Оцепенело и отрешенно сидели они на своих табуретах и не были ни на что злы, ни во что влюблены и ни о чем не грустили или же были злы, влюблены и грустили – каждый на что-то другое, во что-то другое и о чем-то другом, думали о разном и каждый о своем; веление музыки соединяло их в величайшей страсти и в то же время оставляло им что-то отсутствующее, как в насильственном сне под гипнозом.

Каждый из двоих ощущал это по-своему. Вальтер был счастлив и взволнован. Он, как большинство музыкальных людей, принимал эти бури, эти похожие на чувства внутренние волнения, то есть взбаламученную телесную подпочву души, за простой, соединяющий всех людей язык вечности. Он был в восторге оттого, что прижимал к себе Клариссу сильной рукой перевозданного чувства. В этот день он пришел со службы домой раньше обычного. Он занимался каталогизацией произведений искусства, которые еще были отмечены печатью великих, цельных времен и излучали таинственную силу воли. Кларисса встретила его приветливо, теперь, в неистовом мире музыки, она была крепко привязана к нему. Все в этот день несло в себе тайную удачу, беззвучный марш, как бывает, когда боги в пути. «Может быть, сегодня как раз

этот день?» – думал Вальтер. Он ведь не хотел возвращать себе Клариссу силой, а хотел, чтобы она по глубокому внутреннему пониманию ласково склонилась к нему.

Рояль вколачивал сверкавшие шляпками гвозди нот в стену из воздуха. Хотя по своему происхождению процесс этот был совершенно реален, стены комнаты исчезали, и на их месте поднимались золотые стены музыки, таинственное пространство, где «я» и мир, восприятие и чувство, внутреннее и внешнее смыкаются самым неопределенным образом, хотя само это пространство состоит сплошь из осязаемости, определенности, точности, даже, можно сказать, из иерархии блеска подчиненных определенному порядку деталей. К этим-то осязаемым деталям и были прикреплены нити чувства, тянувшиеся из клубящегося марева душ; и марево это отражалось в точности стен и казалось ясным себе самому. Как куколки в коконах, висели на этих нитях и лучах души обоих. Чем толще они были закутаны и чем шире расходились лучи, тем больше блаженствовал Вальтер, и мечты его принимали настолько младенческую форму, что он то и дело фальшиво и сентиментально подчеркивал отдельные ноты.

Но до того как это началось и привело к тому, что пробивавшаяся сквозь золотой туман искра обыкновенного чувства восстановила их земное отношение друг к другу, мысли Клариссы по самому роду их были так отличны от его мыслей, как только возможно это у двух человек, бушующих рядом с одинаковыми, словно близнецы, жестами отчаяния и блаженства. В колышущихся туманах возникали картины, сливались, накладывались одна на другую, исчезали: таков был способ Клариссы думать; она думала на свой особый лад; порой было сразу много мыслей одна в другой, порой не было совсем никаких, но тогда чувствовалось, что мысли, как демоны, стоят за сценой, и временная последовательность ощущений, которая служит другим людям верной опорой, превращалась у Клариссы в плену, то собирающуюся плотными складками, то рассеивающуюся до почти невидимой дымки.

Три человека было на этот раз вокруг Клариссы – Вальтер, Ульрих и убийца женщин Моосбругер.

О Моосбругере ей рассказал Ульрих.

Притягательное и отталкивающее смешались тут в странном очаровании.

Кларисса грызла корень любви. Он раздвоен, с поцелуем и укусом, со сцеплением взглядов и страдальчески отведенными глазами в последний миг. «Неужели полюбование сосуществование толкает к ненависти? – спрашивала она себя. – Неужели благопристойная жизнь хочет грубости? Неужели мирный покой нуждается в жестокости? Неужели порядок требует, чтобы его растерзали?» Вот это и в то же время не это вызывал Моосбругер. Под гром музыки вокруг нее витал мировой пожар, еще не вспыхнувший мировой пожар; он глодал балки внутри здания. Но это было и как в метафоре, где вещи одинаковы и все-таки совершенно различны, а из несходства сходного и из сходства несходного вырастают два столба дыма со сказочным ароматом печеных яблок и брошенных в огонь сосновых веток.

«Надо бы играть без конца», – сказала себе Кларисса и, быстро перелистав ноты, начала пьесу сначала, когда та кончилась. Вальтер смущенно улыбнулся и присоединился к ней.

– Какие, собственно, у Ульриха дела с математикой? – спросила она.

Вальтер, продолжая играть, пожал плечами, словно он вел гоночный автомобиль.

«Играть бы и играть до самого конца, – думала Кларисса. – Если бы можно было непрерывно играть до конца жизни, кем был бы тогда Моосбругер? Чем-то ужасным? Идиотом? Черной птицей неба?» Она не знала этого.

Она вообще ничего не знала. Однажды – она могла бы высчитать с точностью до одного дня, когда это случилось, – она пробудилась ото сна детства, и уже сразу готово было убеждение, что она призвана что-то совершить, сыграть особую роль, может быть, даже избрана для чего-то великого. Тогда она еще ничего не знала о мире. И она не верила ничему из того, что ей о нем рассказывали – родители, старший брат; это были громкие слова, вполне милые и вполне прекрасные, но то, что они говорили, нельзя было сделать своим; просто нельзя было,

как не может одно химическое вещество вобрать в себя другое, которое ему не «подходит». Затем появился Вальтер, это и был тот день; с этого дня все стало «подходить». Вальтер носил усики щеточкой; он сказал ей: «фрейлейн»; мир вдруг перестал быть хаотической, неправильной, разломанной плоскостью, он стал сияющим кругом. Вальтер стал средоточием, она стала средоточием, они стали двумя совпадающими средоточиями. Земля, дома, опавшие и неподметенные листья, причиняющие боль воображаемые кратчайшие линии (как мучительнейшие в ее детстве, вспоминала она минуты, когда однажды озираясь с отцом «пейзаж» и он, живописец, бесконечно долго им восхищался, а ей было только больно глядеть на мир вдоль этих длинных кратчайших линий, как больно было бы провести пальцем по ребру линейки) – из таких вещей состояла жизнь прежде, а теперь она вдруг стала своей, как плоть от ее плоти.

Она знала с тех пор, что совершит что-то титаническое; что именно, она еще не могла сказать, но пока она ощущала это острее всего за музыкой и надеялась в такие минуты, что Вальтер будет даже большим гением, чем Ницше, и уж подавно – чем Ульрих, который возник позднее и просто подарил ей сочинения Ницше.

С той поры все и пошло. Насколько быстро, сейчас уже нельзя было сказать. Как плохо играла она прежде на пианино, как мало понимала в музыке; теперь она играла лучше, чем Вальтер. А сколько книжек она прочла! Откуда они все взялись? Она представила себе все это в виде черных птиц, вьющихся стаями вокруг девочки, которая стоит на снегу. А немного позднее она увидела черную стену и белые пятна на ней; черным было все, чего она не знала, и хотя белое стекалось в островки и острова, черное оставалось неизменно бесконечным. От этой черноты исходили страх и волнение. «Это дьявол?» – подумала она. «Дьявол стал Моосбругером?» – подумала она. Между белыми пятнами она заметила теперь тонкие серые дорожки; так приходила она в своей жизни от одного к другому; это были события: отъезды, приезды, взволнованные объяснения, борьба с родителями, замужество, дом, невероятная борьба с Вальтером. Тонкие серые дорожки змеились. «Змеи! – подумала она. – Заманивают!» Эти события обвивали ее, задерживали, не пускали туда, куда ей хотелось, они были скользкими и заставили ее внезапно метнуться к точке, которой она не желала.

Змеи, заманивающие, засасывающие: так бежала жизнь. Ее мысли побежали, как жизнь. Кончики ее пальцев окунались в водопад музыки. По руслу этого водопада спускались змеи и петли. И тут спасительно, как тихая заводь, открылась тюрьма, где был упрятан Моосбругер. Мысли Клариссы, содрогаясь, вошли в его камеру. «Надо играть, и играть до конца!» – повторяла она себе в ободрение, но сердце ее трепетало. Когда она успокоилась, всю камеру заполнило ее «я». Это было чувство приятное, как болеутоляющая мазь, но, когда она захотела закрепить его навсегда, оно стало раскрываться и раздвигаться, как сказка или как сон. Моосбругер сидел подперев рукой голову, и она, Кларисса, снимала с него оковы. Когда ее пальцы двигались, в камеру входила сила, мужество, добродетель, до б-рота, красота, богатство, словно вызванный ее пальцами ветер с разных лугов. «Совершенно безразлично, почему я могу это делать, – чувствовала Кларисса, – важно только, что я сейчас это делаю!» Она положила ему на глаза свои руки, часть собственного своего тела, и, когда она отняла ладони, Моосбругер уже превратился в прекрасного юношу, а она стояла с ним рядом дивной красоты женщиной, чье тело было сладким и мягким, как южное вино, и совсем не строптивым, каким тело маленькой Клариссы обычно бывало. «Это наш образ невинности!» – определила она думающим где-то далеко в глубине слоем сознания.

Но почему Вальтер не был таким?! Поднимаясь из глубин музыкального сна, она вспомнила, сколько в ней еще было ребяческого, когда она уже любила Вальтера, тогда, в пятнадцать лет, и хотела мужеством, силой и добротой спасти его от всех опасностей, грозивших его гению. И как было прекрасно, когда Вальтер везде замечал эти глубокие духовные опасности! И она спросила себя, было ли все это только ребячеством. Брак затмил это резким светом. Великое смущение для любви вышло вдруг из этого брака. Хотя этот последний период был,

конечно, тоже чудесен, может быть, содержательней и насыщенней, чем предшествующий, все-таки гигантский пожар и сполохи на небе обернулись трудностями никак не разгорающегося очага. Кларисса была не вполне уверена в том, что ее сражения с Вальтером действительно еще величавы. А жизнь бежала, как эта музыка, которая исчезала под руками. Того и гляди, она пройдет. Постепенно Клариссу охватил отчаянный страх. И в этот миг она заметила, какой неуверенной стала игра Вальтера. Как крупные капли дождя, шлепалось на клавиши его чувство. Она сразу угадала, о чем он думает: ребенок. Она знала, что он хочет привязать ее к себе ребенком. Это был их каждодневный спор. А музыка ни на секунду не останавливалась, музыка не знала никаких «нет». Как сеть, вокруг нее стягивавшаяся, это все опутало ее со страшной быстротой.

Кларисса вскочила среди игры и захлопнула рояль, так что Вальтер едва успел отдернуть пальцы.

О, до чего было больно! Еще не оправившись от страха, он все понял. Приход Ульриха, одно лишь оповещение о нем – вот что привело Клариссу в такое неуравновешенное состояние! Он причинял ей вред, грубо волнуя то, чего Вальтер сам едва осмеливался касаться, пагубную гениальность Клариссы, тайную каверну, где что-то зловещее натягивало цепи, которые когда-нибудь могут не выдержать.

Он не трогался с места и только растерянно смотрел на Клариссу.

А Кларисса не давала никаких объяснений, она просто стояла перед ним и учащенно дышала.

Она вовсе не любит Ульриха, заверила она Вальтера, когда он заговорил об этом. Если бы она любила его, она бы это сразу сказала. Но она чувствует себя зажженной им, как свеча. Она каждый раз чувствует, что чуть больше светит и значит, когда он близко. А Вальтер всегда хочет только затворить ставни. А что она чувствует, до этого никому нет дела, ни Ульриху, ни Вальтеру!

Но Вальтеру все-таки показалось, что среди злости и негодования, которыми дышали ее слова, на него пахнуло дурманяще-гибельной крупницей чего-то, что не было злостью.

Наступил вечер. Комната была черная. Рояль был черный. Тени двух любивших друг друга людей были черные. Глаза Клариссы светились в темноте, загоревшись, как свечи, а во рту Вальтера, перекошенном болью, эмаль на одном зубе поблескивала, как слоновая кость. Какие бы великие государственные дела ни вершились где-то там в мире, это было, казалось, несмотря на все свои неприятные стороны, одно из тех мгновений, ради которых Бог сотворил землю.

## 39. Человек без свойств состоит из свойств без человека

Однако Ульрих в этот вечер не пришел. После того как директор Фишель поспешно покинул его, он снова занялся вопросом своей юности – почему мир так зловеще благосклонен ко всяким ненастоящим и в высшем смысле неправдивым словам. «На шаг вперед продвигаешься всякий раз именно тогда, когда лжешь, – подумал он. – Надо было мне еще и это сказать ему».

Ульрих был страстным человеком, но под страстью не следует в данном случае подразумевать собирательное обозначение того, что называют страстями. Что-то, правда, было, по-видимому, такое, что вовлекало его в них снова и снова, и это, возможно, была страсть, но в состоянии волнения и даже взволнованных действий его поведение было одновременно страстным и безучастным. Он прошел чуть ли не через все, через что можно пройти, и чувствовал, что и теперь еще всегда готов кинуться во что-то, пусть даже ничего для него не значащее, лишь бы оно пробуждало его инстинкт действия. Поэтому с его стороны не было бы большим преувеличением, если бы он сказал о своей жизни, что все в ней совершалось так, словно все соответствовало скорее друг другу, чем ему самому. За А всегда следовало Б, будь то в борьбе или в любви. И потому он должен был, верно, считать, что личные свойства, которые он при этом приобретал, соответствовали больше друг другу, чем ему самому, и правда, каждое из них, если он испытывал себя как следует, оказывалось связано с ним не глубже, чем с другими людьми, которые тоже могли обладать им.

Но, несомненно, определяют тебя все-таки они и состоишь ты из них, даже если ты не одно и то же с ними. И порой поэтому ты кажешься себе в спокойном состоянии таким же чужим, как в своем непокое. Если бы Ульриху надо было сказать, каков же он на самом деле, он пришел бы в замешательство, ибо, как и многие, никогда не испытывал себя иным способом, чем на какой-нибудь задаче и в своем отношении к ней. Его чувство собственного достоинства не было ущемлено, оно не было ни изнеженным, ни суетным и не знало потребности в том ремонте и той смазке, которые называют проверкой собственной совести. Был ли он сильным человеком? Этого он не знал; на этот счет он пребывал, может быть, в роковом заблуждении. Но наверняка он всегда был человеком, полагающимся на свою силу. Он и теперь не сомневался, что эта разница между обладанием собственными опытом и свойствами и чуждостью им есть лишь разница в манере держаться, в каком-то смысле акт воли или некая выбранная ступень между всеобщим и личным, на которой живешь. Говоря совсем просто, к вещам, которые с тобой случаются или которые ты делаешь, можно относиться более обще или более лично. Какой-нибудь удар можно воспринять не только как боль, но и как обиду, отчего он невыносимо усиливается; но можно посмотреть на него и со спортивной точки зрения, как на препятствие, которого не нужно страшиться и от которого нельзя приходить в слепую ярость, и тогда нередко его вообще не замечаешь. Но в этом втором случае ты просто-напросто отводишь этому удару место в какой-то общей системе, в данном случае в системе боя, а сущность удара зависит от задачи, которую он должен выполнить. И как раз этот феномен – что пережитое получает свое свечение, даже свое содержание лишь в зависимости от своего места в цепи последовательных действий – демонстрирует каждый, кто смотрит на него, то есть на пережитое, не как на событие чисто личное, а как на вызов своим духовным силам. Он тоже слабее ощущает тогда то, что он делает; но удивительно: то самое, что в боксе считается превосходством духа, называют лишь холодностью и бесчувственностью, когда у людей, боксом не занимающихся, это возникает от интеллектуального подхода к жизни. Есть и всяческие разграничения, чтобы в зависимости от ситуаций проявлять и рекомендовать более общее или более личное отношение к чему-либо. Если убийца действует деловито, это квалифицируется как особая жестокость; если профессор продолжает свои вычисления в объятиях супруги, это толкуется как верх сухости; если политик идет в гору по трупам, это, в зависимости от успеха, име-

ную подлостью или величием; а от солдат, палачей и хирургов прямо-таки требуют, напротив, как раз этой самой непоколебимости, которую в других осуждают. Незачем пускаться в долгие рассуждения насчет моральной стороны этих примеров – и без того видна ненадежность, с какой каждый раз заключается компромисс между объективно правильным и лично правильным поведением.

Эта ненадежность создавала личному вопросу Ульриха широкий фон. Быть индивидуальностью раньше можно было с более чистой совестью, чем сегодня. Люди походили на колося в поле: Бог, град, пожары, чума и войны шевелили их, вероятно, сильнее, чем теперь, но совокупно – городами, землями, как ниву, а если, кроме того, для отдельного колоска оставалось еще и какое-то индивидуальное шевеление, то за него можно было отвечать и оно четко определялось. А сегодня главная тяжесть ответственности лежит не на человеке, а на взаимосвязи вещей. Разве незаметно, что переживания сделались независимы от человека? Они ушли в театр, в книги, в отчеты исследовательских центров и экспедиций, в идеологические и религиозные корпорации, развивающие определенные виды переживаний за счет других, как в социальном эксперименте, и переживания, не находящиеся в данный момент в работе, пребывают просто в пустоте; кто сегодня может еще сказать, что его злость – это действительно его злость, если его настраивает так много людей и они смыслят больше, чем он? Возник мир свойств – без человека, мир переживаний – без переживающего, и похоже на то, что в идеальном случае человек уже вообще ничего не будет переживать в частном порядке и приятная тяжесть личной ответственности растворится в системе формул возможных значений. Распад антропоцентрического мировоззрения, которое так долго считало человека центром вселенной, но уже несколько столетий идет на убыль, добрался, видимо, наконец до самого «я»; ибо вера, что в переживании самое важное – это переживать, а в действии – действовать, начинает большинству людей казаться наивной. Вероятно, есть еще люди, живущие совершенно индивидуально, они говорят: «Вчера мы были у того-то и того-то» или «мы делаем сегодня то-то и то-то» и радуются этому, не ища за этим никакого другого значения и содержания. Они любят все, что ни соприкасается с их пальцами, и являют собой частное лицо в столь чистом виде, сколь это возможно; при соприкосновении с ними мир становится чистым миром и светится как радуга. Может быть, они очень счастливы; но эта порода людей обычно уже кажется другим нелепой, хотя еще отнюдь не установлено – почему... И среди этих раздумий Ульрих вдруг должен был с улыбкой признать, что он при всем при том – некий характер, хотя характера у него нет.

## **40. Человек со всеми свойствами, но они ему безразличны. Князь духа попадает под арест, и параллельная акция получает почетного секретаря**

Нетрудно описать в главных чертах этого тридцатидвухлетнего человека по имени Ульрих, даже если он знает о себе только то, что ему одинаково близко и одинаково далеко до всех свойств и что все они, приобрел он их или нет, ему каким-то странным образом безразличны. С живостью ума, объясняющейся просто очень разнообразными задатками, у него соединяется и известная агрессивность. Склад ума у него мужской. Он не чувствителен, когда дело касается других людей, и редко вникал в их положение, если не хотел раскусить их для своих целей. Он не уважает права, если не уважает того, кто ими обладает, а это случается редко. Ибо со временем в нем развились известная готовность к отрицанию, гибкая диалектика чувства, легко подбивающая его находить какой-нибудь вред в чем-то, что все одобряют, а что-то запретное, наоборот, защищать и отвергать обязанности с тем раздражением, которое происходит от желания создать себе собственные обязанности. Но, несмотря на это желание, нравственное руководство собой он предоставляет, допуская известные исключения из этого правила, просто тому рыцарскому кодексу приличий, которого в буржуазном обществе держатся почти все мужчины, пока живут в нормальных условиях, и с высокомерием, бесцеремонностью и небрежностью человека, призванного вершить свое дело, ведет жизнь некоего другого человека, находящего своим склонностям и способностям более или менее обычное полезное и рациональное применение. Он привык, по естественному побуждению и без тщеславия, считать себя орудием для какой-то немаловажной цели, узнать которую надеялся еще вовремя, и даже теперь, в этот начавшийся год ищущей чего-то тревоги, после того как он признал, что жизнь его течет без руля и ветрил, у него вскоре опять появилось чувство, что он на верном пути, и он не очень-то утруждал себя своими планами. Не так легко распознать движущую страсть в подобной натуре: задатки и обстоятельства сформировали ее многозначно, судьба ее еще не обнажена никаким действительно твердым противодействием, а главное – для решения еще недостает чего-то неизвестного ей. Ульрих – человек, которого что-то принуждает жить наперекор себе самому, хотя с виду он живет очень непринужденно.

Сравнение мира с лабораторией вновь пробудило в нем один старый образ. Раньше он часто представлял себе жизнь, какой она нравилась бы ему, подобием опытной станции, где испытываются лучшие способы быть человеком и открываются новые. Что работала вся эта лаборатория довольно непланово и что не было тут ни заведующих, ни теоретиков – это был другой вопрос. Можно, пожалуй, сказать, что он сам был не прочь стать чем-то вроде князя и владыки духа – да и кто отказался бы?! Это так естественно, что дух считается самым высоким и надо всем главенствующим. Этому учат. Все, что может, украшает себя духом, прихорашивается. Дух в соединении с чем-то – это самая распространенная вещь на свете. Дух верности, дух любви, мужественный дух, просвещенный дух, величайший среди живущих титан духа, будем свято хранить дух того или иного дела и будем действовать в духе нашего движения – как твердо и безупречно звучит это и на самых низких уровнях. Все остальное, обыденные преступления или кропотливое приобретательство, кажется рядом с этим чем-то таким, в чем стыдно признаться, грязью, которую Бог удаляет из-под ногтей своих ног.

Но если дух оказывается в одиночестве, голым существительным, нагим, как призрак, которому хочется дать напрокат простыню, – что тогда? Можно читать поэтов, изучать философов, покупать картины и ночи напролет дискутировать – но то, что при этом приобретают, разве это дух? Допустим, ты и впрямь приобретаешь его – но разве потом ты им обладаешь? Очень уж прочно связан этот дух со случайной формой своего появления! Через человека,

который хочет его вобрать, он проходит насквозь и оставляет лишь чуточку потрясения. Что нам делать со всем этим обилием духа? Он снова и снова производится в поистине астрономических количествах на горах бумаги, камня, холста и столь же непрестанно, с гигантскими затратами нервной энергии, истребляется и вкушается. Но что происходит с ним потом? Исчезает, как мираж? Распадается на частицы? Не подчиняется земному закону сохранения вещества? Пылинки, оседающие в нас и медленно успокаивающиеся, не идут ни в какое сравнение с этим обилием. Куда он девается, где он, что он такое? Может быть, знай мы об этом побольше, вокруг этого существительного «дух» воцарилась бы гнетущая тишина?!

Наступил вечер; дома, словно выломанные из пространства, асфальт, стальные рельсы составляли остывшую раковину города, материнскую раковину, полную ребяческого, радостного, злого человеческого движения. Где каждый начинает как капелька, как взбрызг; начинается с маленького взрыва, подхватывается стенами, охлаждается, становится мягче, неподвижнее, нежно лепится к чаше материнской раковины и, наконец, застывает в крупинку на ее стене. «Почему, – подумал вдруг Ульрих, – я не стал паломником?» Чистое, свободное от всяких условностей житье, изнуряюще свежее, как совсем чистый воздух, представилось ему; кто не хочет принять жизнь, должен бы по крайней мере сказать «нет», как святые. И все же было просто невозможно серьезно об этом подумать. Точно так же не мог бы он стать искателем приключений, хотя тут жизнь сулила что-то вроде непрестанного медового месяца, а его тело и его отвага чувствовали такое желание. Он не мог стать ни поэтом, ни одним из тех разочарованных, что верят только в деньги да силу, хотя для всего этого у него были задатки. Он забыл свой возраст, он представил себе, что ему двадцать, – все равно внутренне было так же решено, что никем из всех перечисленных ему не стать; ко всему на свете его что-то влекло, а что-то более сильное не давало ему туда идти. Почему же он жил так смутно и нерешительно? Несомненно, – сказал он себе, – на уединенную и безымянную форму существования обрекала его властная потребность в том умении разрешать и вязать мир, что одним словом, словом, которое неприятно встречать в одиночестве, – называется «дух». И, сам не зная почему, Ульрих вдруг опечалился и подумал: «Я просто не люблю самого себя». Он почувствовал, как в самой глубине замерзшего, окаменевшего тела города бьется его, Ульриха, сердце. Что-то в нем было такое, что нигде не хотело остаться, чувствовало себя скользящим вдоль стен мира и думало: ведь есть же еще миллионы других стен; эта медленно остывающая, смешная капля «я», которая не хотела отдавать свой огонь, свою крошечную частицу жара.

Дух узнал, что благодаря красоте можно стать добрым, плохим, глупым или очаровательным. Он анализирует овцу и кающегося грешника и находит в той и в другом смирение и терпение. Он исследует вещество и выясняет, что в больших дозах оно яд, а в малых – возбуждающее средство. Он знает, что слизистая оболочка губ родственна слизистой оболочке кишки, но знает также, что смирение этих губ родственно смирению всего святого. Он смешивает, разбирает и складывает по-новому. Добро и зло, верх и низ для него не относительные, полные скепсиса понятия, а члены функции, величины, зависящие от связи, в которой они находятся. Столетия научили его, что пороки могут стать добродетелями, а добродетели – пороками, и он считает это просто-напросто неумелостью, если еще не удастся в течение одной жизни сделать из преступника полезного человека. Он не признает ничего недозволенного и ничего дозволенного, ибо все может обладать свойством, благодаря которому оно в один прекрасный день получит место в великой, новой системе связей. Он тайно ненавидит, как смерть, все, что притворяется установленным раз навсегда, великие идеалы и законы и их маленький окаменевший слепок – ограниченного человека. Он ничто не считает прочным – никакое «я», никакой порядок; поскольку знания наши меняются с каждым днем, он не верит ни в какие связи, и все обладает той ценностью, какую оно имеет лишь до следующего акта творения, подобно тому как лицо человека, к которому обращена твоя речь, меняется с каждым твоим словом.

Таким образом, дух – это высокий приспособленец, но сам он неуловим, и впору поверить, что от его воздействия не остается ничего, кроме распада. Всякий прогресс – это выигрыш в чем-то отдельном и разъединение в целом; это прирост силы, переходящий в прогрессирующий прирост бессилия, и от этого никуда не уйти. Ульриху вспомнилось это растущее чуть ли не по часам тело фактов и открытий, из которого должен сегодня вынырнуть дух, если он хочет точно рассмотреть тот или иной вопрос. Плоть эта, вырастая, удаляется от сердцевины. Правда, бесчисленные концепции, мнения, классифицирующие идеи всех широт и времен, всех видов мозгов, здоровых и больных, бодрых и сонных, пронизывают ее как тысячи чувствительных нервных нитей, но центра, где все они сходились бы, нет. Человек чувствует, что ему грозит опасность разделить участь тех исполинских допотопных животных, что погибли из-за своей огромности; но отступить он не может... Это снова напомнило Ульриху ту довольно сомнительную идею, в которую он долгое время верил и которую даже сегодня еще не совсем искоренил в себе, – что лучше всего миром управлял бы сенат знающих и передовых людей. Ведь вполне естественно думать, что у человека, который, заболев, обращается к получившим специальное образование врачам, а не к пастухам, нет причин, когда он здоров, обращаться за помощью к сведущим не более, чем пастухи, болтунам, как он это делает в вопросах общественных, и молодые люди, которым важно в жизни действительно существенное, поначалу считают поэтому все на свете, что нельзя назвать ни истинным, ни добрым, ни прекрасным, например финансовые органы или, еще ближе к теме, парламентские дебаты, второстепенным; по крайней мере, тогда молодые люди так думали, ведь теперь, благодаря политическому и экономическому образованию, они, по слухам, другие. Но и тогда научались с возрастом и после более длительного знакомства с коптильной духа, где мир коптит свое деловое сало, приспособляться к реальности, и окончательное состояние духовно подкованного человека было примерно таково, что он ограничивался своей «специальностью» и на остаток жизни вооружался убеждением, что все должно было бы, пожалуй, быть другим, но нет никакого смысла об этом задумываться. Так примерно выглядит внутреннее равновесие людей, которые достигают каких-то духовных успехов. И все это вдруг комичным образом предстало Ульриху в виде вопроса, не в том ли, в конце концов, вся беда – ведь духа-то наверняка хватает на свете, – что сам дух бездуховен?

Ему стало смешно. Он же сам был одним из этих отмахивающихся. Но разочарованное, еще живое честолюбие пронзило его как меч. Два Ульриха шли в этот миг по улице. Один, улыбаясь, озирался и думал: «Вот где я, значит, когда-то хотел сыграть роль, среди таких кулис, как эти. В один прекрасный день я проснулся, не уютно, как в колыбельке, а с суровым убеждением, что должен что-то исполнить. Мне подбрасывали реплики, а я чувствовал, что они меня не касаются. Как волнением перед выходом на сцену, все было тогда заполнено моими собственными замыслами и ожиданиями. А площадка тем временем незаметно повернулась, я прошел кусок своего пути и, может быть, уже стою перед выходом. Скоро круг вынесет меня со сцены, а я только и скажу из всей своей великой роли: „Лошади оседланы“. Черт бы вас всех побрал!» Но в то время, как один Ульрих, улыбаясь, шел с этими мыслями сквозь пливший над землей вечер, другой сжимал кулаки с болью и злостью; он был менее видимым, и думал он о том, чтобы найти заклинание, рычаг, за который можно ухватиться, настоящий дух духа, недостающий, маленький, быть может, кусок, который замкнет сломанный круг. Этот второй Ульрих не находил надобных ему слов. Слова скачут, как обезьяны с дерева на дерево, но в той темной области, где прячутся твои корни, ты лишен дружественного посредничества слов. Почва уходила у него из-под ног. Ему трудно было открыть глаза. Может ли чувство быть, как буря, и быть, однако же, вовсе не бурным чувством? Когда говорят о буре чувств, имеют в виду такую бурю, при которой кора человека скрипит, а ветви человека качаются так, словно вот-вот обломаются. Но это была буря при полном спокойствии на поверхности. Не совсем даже состояние изменения, поворота; ни одна черточка в лице не дрогнула, а внутри, кажется, ни

один атом не остался на месте. Сознание Ульриха было ясно, но иначе, чем обычно, воспринимался каждый встречный зрением, а каждый звук – слухом. Не то чтобы острее; в сущности, и не глубже, да и не мягче, и не то чтобы естественней или неестественней. Ульрих ничего не мог сказать, но в эту минуту он думал о странной вещи «дух» как о любимой, которая всю жизнь тебя обманывает, но не становится менее любимой, и это соединяло его со всем, что ему встречалось. Ведь когда любишь, то все любовь, даже если это боль и отвращение. Веточка на дереве и бледное оконное стекло в вечернем свете стали глубоко погруженным в его, Ульриха, собственную суть впечатлением, которое едва ли можно было передать словами. Вещи состояли, казалось, не из дерева и камня, а из грандиозной и бесконечно нежной безнравственности, которая в тот миг, когда она с ним соприкасалась, становилась глубоким нравственным потрясением.

Это длилось не долее, чем длится улыбка, и только Ульрих подумал: «Ну что ж, останусь там, куда меня занесло», как эта напряженность, к несчастью, раскололась о помеху.

То, что произошло теперь, идет и правда совсем из другого мира, чем тот, где Ульрих только что пережил деревья и камень как чувствующее продолжение собственной жизни.

Одна рабочая газета огульно оплевала, как выразился бы граф Лейнсдорф, его Великую Идею, назвав ее всего лишь новой сенсацией для господ, стоящей в этом смысле в одном ряду с последними садистскими убийствами, чем и раззадорила одного рабочего парня, выпившего несколько больше, чем следует. Он привязался к двум добропорядочным гражданам, довольным сделанными за день делами и, в сознании, что благонамеренность прятаться не должна, весьма громко обсуждавшим свою солидарность с отечественной акцией, о которой они прочли в своей газете. Возникла словесная перепалка, и, поскольку близость полицейского ободряла благонамеренных в такой же мере, в какой она дразнила приставшего, спор принимал все более резкие формы. Полицейский следил за ним сперва через плечо, позднее – повернувшись к нему, потом – с близкого расстояния; он наблюдал за ним как выступ железного механизма «государство», оканчивающийся пуговицами и другими металлическими частями. Постоянная жизнь в благоустроенном государстве определенно содержит в себе что-то призрачное; нельзя ни выйти на улицу, ни выпить стакан воды, ни сесть в трамвай, не коснувшись хорошо сбалансированных рычагов гигантского аппарата законов и связей, не приведя их в движение или не позволив им поддерживать покой нашего существования; мы знаем лишь малую часть этих рычагов, уходящих глубоко в механизм и теряющихся другой своей стороной в сети, распутать всю сложность которой еще не удавалось вообще никому; поэтому их существование не признают, как не признает гражданин государства существования воздуха, утверждая, что он – пустота, но в том-то, видно, и состоит определенная призрачность жизни, что все, чего не признают, все лишнее цвета, запаха и вкуса, веса и морали, как вода, воздух, пространство, деньги и ход времени, на самом-то деле и есть самое важное; человека порой охватывает паника, как в безвольности сна, буйство, когда он мечется, как зверь, попавший в непонятный ему механизм сети. Такое воздействие оказали на рабочего пуговицы полицейского, и страж государства, почувствовав, что его не уважают, как то положено, в этот же миг приступил к аресту.

Прошел таковой не без сопротивления и повторных проявлений мятежного образа мыслей. Пьяному льстил вызванный им переполох, и утаиваемая дотоле полная неприязнь твари к сотвари живой сбросила оковы. Началась страстная борьба за самоутверждение. Высокое чувство собственного «я» спорило с жутковатым чувством неплотного прилегания собственной шкуры. Мир тоже не был прочен; он был чем-то эфемерным, то и дело менявшим форму и облик. Дома стояли выломанные наискось из пространства; смешным, но родным дурачьем кишели среди них люди. Я призван навести у них порядок, чувствовал пьяный. Вся сцена была заполнена чем-то мерцающим, какой-то отрезок происходившего ясно приближался к нему, но потом стены опять закружились. Оси глаз торчали из головы, как рукоятки, а подошвы удер-

живали землю на месте. Начался поразительный излив изо рта; изнутри поднимались слова, непонятно как вошедшие туда прежде, возможно, это были ругательства. Так уж точно различить это нельзя было. Наружное и внутреннее свалились друг в друга. Злость была не внутренней злостью, а только взволнованным до неистовства плотским вместилищем злости, и лицо полицейского очень медленно приблизилось к сжатому кулаку, а потом стало кровоточить.

Но и полицейский тем временем устроился; вместе с подоспевшими сотрудниками службы безопасности сбежались люди, пьяный бросился на землю и стал отбиваться. Тут Ульрих совершил неосторожность. Услышав в толпе слова «оскорбление величества», он заметил, что в таком состоянии этот человек не способен нанести кому-либо оскорбление и что его нужно отправить выпасться. Он сказал это невзначай, но напал не на тех. Пьяный закричал, что и Ульрих и его величество пусть катятся к...! – и полицейский, явно приписывая вину за этот рецидив вмешательству постороннего, грубо велел Ульриху уматываться. Тот, однако, не привык смотреть на государство иначе, чем на гостиницу, где обеспечено вежливое обслуживание, и возразил против тона, которым с ним говорили, а это неожиданно навело полицию на мысль, что одного пьяного для трех полицейских маловато, отчего они заодно прихватили и Ульриха.

Пальцы человека в военной форме сжали его руку. Его рука была куда сильнее, чем этот оскорбительный зажим, но он не смел разорвать его, если не хотел вступить в безнадежную драку с вооруженной государственной мощью, так что ему ничего не осталось, как вежливо попросить разрешения следовать добровольно. Караулка находилась в здании полицейского комиссариата, и, как только Ульрих вошел туда, от пола и стен на него пахнуло казармой; здесь шла такая же мрачная борьба между упорно вносимой грязью и грубыми дезинфицирующими средствами. Затем он заметил здесь непременный символ гражданской власти, два письменных стола с балюстрадой, в которой не хватало нескольких балясинок, немудреные ящики с разорванным и прожженным суконным покрытием, покоившиеся на очень низких шарообразных ножках и полированные во времена императора Фердинанда желто-коричневым лаком, уже почти совсем облупившимся. Третьим, что заполняло эту комнату, было железное чувство, что здесь надо ждать, не задавая вопросов. Доложив причину ареста, его полицейский стал рядом с ним как столб, Ульрих попытался сразу же что-то объяснить, унтер, командовавший этой крепостью, поднял один глаз, оторвав взгляд от бланка, который он, когда конвой и арестованные вошли, уже заполнял, осмотрел Ульриха, а затем глаз опять опустил, и чин молча продолжал заполнение бланка. У Ульриха возникло ощущение бесконечности. Затем унтер отстранил от себя бланк, взял с полки какую-то книгу, что-то занес в нее, посыпал сверху песком, положил книгу на место, взял другую, занес, посыпал, извлек какую-то папку из кипы таких же и продолжил свою деятельность уже над ней. У Ульриха создалось впечатление, что разматывается вторая бесконечность, во время которой звезды ходят по своим кругам, а его самого нет на свете.

Открытая дверь вела из канцелярии в коридор, вдоль которого шли камеры. Туда сразу же отвели ульриховского подопечного, и, судя по тому, что больше его не было слышно, его хмель даровал ему благодать сна; но другие жутковатые действия давали о себе знать. Коридор с камерами имел, по всей вероятности, еще один вход; Ульрих слышал тяжелые шаги входивших и выходивших, хлопанье дверей, приглушенные голоса, и вдруг, когда снова кого-то привели, один такой голос поднялся до высокой ноты, и Ульрих услышал, как он в отчаянии взмолился: «Если в вас есть хоть искорка человеческого чувства, не арестовывайте меня!» Голос упал куда-то, и странно неуместно, почти смехотворно прозвучал этот призыв к чувствам функционера, ведь функции исполняются только по-деловому. Унтер на миг поднял голову, не вполне оторвавшись от своих документов. Ульрих услышал грузное шарканье множества ног, чьи тела явно молча теснили какое-то сопротивляющееся тело. Затем шатнулся только звук двух ног, как после толчка. Затем с силой защелкнулась дверь, звякнула задвижка, сидевший

за столом человек в форме снова уже склонил голову, и в воздухе повисло молчание точки, поставленной после фразы там, где нужно.

Но Ульрих, видимо, ошибся, решив, что сам он еще не сотворен для полицейского космоса, ибо, подняв голову в следующий раз, унтер взглянул на него, написанные только что строчки остались непосыпанными и влажно блестели, и вдруг оказалось, что дело Ульриха давно уже вступило в здешнее официальное бытие. Имя и фамилия? Возраст? Занятие? Местожительство?.. Ульриха допрашивали.

Ему казалось, что он угодил в машину, которая стала расчленять его на безличные, общие составные части еще до того, как вообще зашла речь о его виновности или невиновности. Его имя и фамилия, эти два слова, по содержанию самые бедные, но эмоционально самые богатые слова языка, не говорили здесь ничего. Его работ, снискавших ему уважение в научном мире, который вообще-то считается солидным, в этом, здешнем мире не было вовсе; его ни разу о них не спросили. Его лицо имело значение только как совокупность примет; ему показалось, что никогда раньше он не думал о том, что глаза его были серыми глазами, одной из четырех официально признанных разновидностей глаз, имеющейся в миллионах экземпляров; волосы его были светло-русыми, рост высоким, лицо овальным, а особых примет у него не было, хотя сам он держался другого мнения на этот счет. По собственному его чувству, он был крупного сложения, у него были широкие плечи, его грудная клетка выпирала, как надутый парус на мачте, а суставы его тела замыкали его мышцы, как узкие стальные звенья, когда он сердился, спорил или когда к нему льнула Бонадея; напротив, он был тонок, хрупок, темен и мягок, как висящая в воде медуза, когда читал книгу, которая его захватывала, или когда на него веяло дыханием бесприютной великой любви, присутствия которой в мире ему никогда не удавалось понять. Вот почему даже в эту минуту он смог оценить статистическое развенчание своей персоны, и примененный к нему полицией способ измерения и описания воодушевил его, как любовное стихотворение, сочиненное сатаной. Замечательнее всего тут было то, что полиция может не только расчленить человека так, что от него ничего не останется, но что из этих ничтожных составных частей она безошибочно собирает его и по ним узнает. Чтобы совершить это, ей нужно только, чтобы произошло нечто невесомое, именуемое ею подозрением.

Ульрих вдруг понял, что лишь хладнокровной находчивостью сможет он выпутаться из этого положения, в которое попал из-за своей глупости. Его продолжали допрашивать. Он представил себе, какое это возымеет действие, если на вопрос о его местожительстве он ответит, что его адрес есть адрес незнакомого ему лица. Или если на вопрос, почему он сделал то, что сделал, заявит, что всегда делает не то, что для него действительно важно. Но во внешней реальности он невозмутимо назвал улицу и номер дома и попытался придумать оправдание своего поведения. Внутренний престиж духа был при этом удручающе бессилен против внешнего престижа унтера. Наконец Ульрих все-таки углядел спасительную лазейку. Отвечая на вопрос о роде занятий – «свободная профессия», – назваться «не состоящим на службе» у него не повернулся язык, – он еще чувствовал на себе взгляд, меривший его в точности так, как если бы он сказал: «бездомный»; но когда в ходе допроса зашла речь о его отце и выяснилось, что тот член верхней палаты, взгляд этот стал другим. Он был все еще недоверчив, но отчего-то у Ульриха появилось такое чувство, с каким человек, которого швыряли взад и вперед морские волны, касается дна большим пальцем ноги. С быстро вернувшимся к нему самообладанием он это использовал. Он мгновенно смягчил все, что уже признал, противопоставил престижу верных присяге и находившихся на посту ушей настойчивое желание, чтобы его допросил сам комиссар, и, когда это вызвало только усмешку, соврал – со счастливой естественностью, походя и в готовности сразу же замять это утверждение, если из него ему скрутят петлю требующего точности вопросительного знака, – что он друг графа Лейнсдорфа и секретарь великой патриотической акции, о которой, наверно, все читали в газетах. Он сразу заметил, что вызвал этим ту более серьезную задумчивость по поводу своей персоны, в какой ему

до сих пор отказывали, и закрепил свое преимущество. Следствием было то, что унтер стал глядеть на него со злостью, потому что ни отвечать за дальнейшее задержание этой добычи, ни отпускать ее на волю он не хотел; и, поскольку никого из более высоких чиновников на месте в этот час не было, он нашел выход, как нельзя лучше свидетельствовавший о том, что по части решения неприятных вопросов этот простой унтер кое-чему научился у своего начальства. Он сделал важную мину и самым серьезным образом предположил, что Ульрих виновен не только в оскорблении стражей закона и вмешательстве в действия должностных лиц, но как раз ввиду положения, которое он, по его словам, занимает, вероятно, еще и в каких-то невыясненных, может быть, политических махинациях, отчего и должен быть передан политическому отделу управления полиции.

И вот через несколько минут Ульрих ехал сквозь ночь в такси, которое ему позволили взять, а рядом сидел неразговорчивый чин в штатском. Когда они приблизились к управлению, арестованный увидел, что окна второго этажа празднично освещены, ибо, несмотря на позднее время, у главного начальника происходило важное заседание, дом этот не был темным сараем, а походил на какое-нибудь министерство, и Ульрих дышал уже более привычным воздухом. Вскоре он также заметил, что ночной дежурный, к которому его привели, в два счета распознал глупость, учиненную донесением раздраженного периферийного органа; тем не менее ему показалось чрезвычайно неблагоприятным выпускать из лап закона человека, имевшего неосторожность самочинно в них угодить. Чиновник управления, чье лицо тоже носило железную машину, заверил задержанного, что из-за его опрометчивости взять на себя его освобождение крайне трудно. Арестованный уже дважды выложил все, что так благоприятно подействовало раньше на унтера, но на вышестоящего чиновника это не произвело никакого впечатления, и Ульрих уже счел свое дело проигранным, как вдруг в лице того, в чьих руках он сейчас находился, произошла удивительная, почти счастливая перемена. Он еще раз хорошенько рассмотрел донесение, велел Ульриху еще раз назвать ему свою фамилию, проверил его адрес и, вежливо попросив его немного подождать, вышел из комнаты. Через десять минут он вернулся с видом человека, вспомнившего что-то приятное, и уже необыкновенно вежливо пригласил арестованного последовать за ним. У двери одной из освещенных комнат этажом выше он сказал только: «Господин начальник полиции хочет поговорить с вами сам», а в следующий миг Ульрих стоял перед вышедшим из соседнего зала заседаний господином с бакенбардами, который был ему уже знаком. Он хотел с мягким упреком объяснить свое появление здесь оплошностью участкового унтера, но начальник полиции опередил его, приветствуя Ульриха словами: «Недоразумение, дорогой доктор, комиссар мне уже все рассказал. Однако мы должны будем немного вас наказать, поскольку...» При этих словах он плутовато (если слово «плутовато» вообще применимо к высшему чину полиции) взглянул на Ульриха, словно предоставляя ему самому разрешить эту загадку.

Но Ульрих не сумел ее разрешить.

– Его сиятельство! – помог начальник полиции. – Его сиятельство граф Лейнсдорф, – прибавил он, – всего несколько часов назад справлялся у меня о вас с самым живым интересом.

Ульрих понял только наполовину.

– Вы не значитесь в адресной книге, господин доктор! – объяснил начальник полиции с шутивным упреком, словно только в этом и состояла провинность Ульриха.

Ульрих поклонился, сдержанно улыбаясь.

– Полагаю, что завтра вам надо будет навеститься к его сиятельству по делу большой общественной важности, и не решусь помешать этому, заключив вас в тюрьму.

Так владыка железной машины закончил свою маленькую шутку.

Можно предположить, что и в любом другом случае начальник полиции счел бы арест несправедливостью и что комиссар, случайно вспомнивший связь, в которой несколько часов назад в этом доме впервые прозвучала фамилия Ульриха, представил бы начальнику дело в

точности таким, каким тот должен был увидеть его, чтобы прийти к этому мнению, и, стало быть, в ход вещей никто произвольно не вмешивался. Его сиятельство, кстати сказать, обо всех этих совпадениях так и не узнал. Ульрих почувствовал себя обязанным нанести ему визит на следующий после оскорбления величества день и сразу же стал тогда почетным секретарем великой патриотической акции. Узнай граф Лейнсдорф, как это получилось, он не мог бы сказать ничего, кроме того, что все произошло просто чудом.

## 41. Рахиль и Диотима

Вскоре после этого у Диотимы состоялось первое большое заседание по поводу отечественной акции.

Столовая рядом с салоном была переоборудована в комнату для совещаний. Обеденный стол, раздвинутый и покрытый зеленым сукном, стоял посередине комнаты. Листы министерской, цвета слоновой кости, бумаги и карандаши разной твердости лежали у каждого места. Буфет вынесли. Углы комнаты были пусты и строги. Стены были почтительно голые, если не считать повешенного Диотимой портрета его величества и портрета какой-то дамы в корсаже, откуда-то привезенного некогда господином Туцци в бытность его консулом, хотя этот портрет вполне мог сойти за изображение какой-нибудь прародительницы. Диотима с удовольствием поставила бы еще во главе стола распятие, но начальник отдела Туцци высмеял ее, прежде чем, по соображениям такта, покинул дом.

Ибо параллельная акция должна была начаться совершенно неофициально. Ни министров, ни высоких чиновников не пригласили; отсутствовали и политики; так было задумано; сначала нужно было собрать лишь самоотверженных слуг идеи в самом узком кругу. Ожидались глава Государственного банка, господин фон Гольцкопф и барон Виснечки, несколько дам из высшей аристократии, известные деятели общественной благотворительности и, в соответствии с принципом графа Лейнсдорфа «собственность и образованность», представители высшей школы, артистических объединений, промышленности, крупного землевладения и церкви. Правительственные инстанции поручили представлять себя незаметным молодым чиновникам, подходившим по светским меркам к этому кругу и пользовавшимся доверием своих начальников. Этот состав отвечал желаниям графа Лейнсдорфа, который хоть и помышлял о демонстрации, идущей без принуждения из гущи народа, но после опыта с четырьмя пунктами находил все-таки весьма успокоительным знать, с кем при этом имеешь дело.

Маленькая горничная Рахиль (ее госпожа несколько самовольно перевела это имя на французский и произносила «Рашель») была уже с шести часов утра на ногах. Она раздвинула большой обеденный стол, приставила к нему два ломберных стола, покрыла все зеленым сукном, особенно тщательно вытерла пыль и совершила все эти обременительные манипуляции со светлым восторгом. Накануне вечером Диотима сказала ей: «Завтра, возможно, у нас будет твориться мировая история!» – и все тело Рахили сторало от счастья жить в доме, где происходит такого рода событие, что очень даже говорило в пользу события, ибо тело Рахили под черным платьем было прелестно, как мейсенский фарфор.

Рахили было девятнадцать лет, и она верила в чудеса. Она родилась в Галиции, в безобразной лачуге, где на дверном косяке висела полоска бумаги с текстом из Торы, а в полу были трещины, через которые пробивалась земля. Ее прокляли и выгнали из дому. Лицо матери выражало при этом беспомощность, а сестры и братья испуганно ухмылялись. Она, умоляя, ползала на коленях, и стыд разрывал ей сердце, но ничто ей не помогло. Ее совратил один бесовский мальчик, она уже не помнила как. Ей пришлось родить у чужих людей, а потом покинуть родные места. И Рахиль уехала; под грязным деревянным ящиком вагона, в котором она ехала, с нею катилось отчаяние; выплакавшись до пустоты, она увидела перед собой столицу, куда ее погнало какой-то инстинкт, только как огромную огненную стену, на которую ей хотелось броситься, чтобы умереть. Но, диво дивное, эта стена разомкнулась и приняла ее; с тех пор у Рахили всегда было такое чувство, словно она живет внутри золотого пламени. Случай привел ее в дом Диотимы, и та нашла очень естественным убежать из родительского дома в Галиции, если благодаря этому попадаешь к ней. Она рассказывала малышке, когда они сошлись поближе, о знаменитых и высокопоставленных людях, бывавших в доме, где «Рашели» выпала честь им прислуживать; и даже насчет параллельной акции она уже кое-что поведала ей, потому

что это была сущая радость – глядеть на зрочки Рахили, вспыхивающие от каждой новости и похожие на золотые зеркала, которые лучились отражением госпожи.

Ибо хотя маленькую Рахиль и проклял отец из-за какого-то бессовестного парня, она была все-таки девушка порядочная и любила в Диотиме просто-напросто все: мягкие темные волосы, которые ей утром и вечером доводилось расчесывать, платья, которые она помогала ей надевать, китайские лакированные безделушки и разные индийские столики, разбросанные повсюду книги на иностранных языках, в которых она не понимала ни слова; любила она и господина Туцци, а с недавних пор и набоба, навестившего уже на второй день после своего приезда – она сделала из второго дня первый – ее госпожу; Рахиль глядела на него в передней со светлым восторгом, как на христианского Спасителя, вышедшего из своей золотой раки, и огорчало ее единственно то, что он не взял с собой своего Солимана, чтобы вместе с ним засвидетельствовать почтение ее хозяйке.

Но сегодня, пребывая в соседстве с таким мировым событием, она была убеждена, что произойдет что-то, касающееся и ее самой, и полагала, что на сей раз Солиман, наверно, прибудет в обществе своего господина, как того требует торжественность случая. Ожидание это, однако, вовсе не было самым главным, а было только надлежащей завязкой, узлом или интригой, неизменными во всех романах, на которых воспиталась Рахиль. Ибо Рахили разрешалось читать романы, брошенные Диотимой, как разрешалось ей перешивать для себя белье, когда Диотима переставала его носить. Рахиль шила и читала с легкостью, это было ее еврейское наследство, но когда в руках у нее оказывался роман, который Диотима называла великим произведением искусства, – а такие Рахиль любила больше всего, – то, конечно, описываемое в нем она воспринимала лишь так, как смотрят на какие-нибудь бурные события с большого расстояния или в чужой стране; ее занимало, даже захватывало непонятное ей движение, но вмешаться в него она не могла, и это-то она больше всего любила. Когда ее посылали за чем-нибудь на улицу или когда в доме бывали важные гости, она точно так же наслаждалась великой и волнующей атмосферой имперского города, не поддающимся пониманию обилием блестящих деталей, к которым она была причастна просто потому, что находилась на привилегированном месте в их центре. Она вовсе и не хотела понимать это лучше; свое начальное еврейское образование, мудрость, услышанную в родительском доме, она забыла со злости и не нуждалась в них так же, как не нужны цветку ложка и вилка, чтобы питаться соками земли и воздуха.

И вот теперь она еще раз собрала все карандаши и стала осторожно всовывать блестящие их острия в стоявшую в углу стола машинку, которая, если покрутить ее за ручку, строгала дерево с таким совершенством, что при повторении этого процесса уже не отлетало ни волокна; затем она опять положила карандаши к мягким, как бархат, листам бумаги, к каждому по три разных, думая о том, что совершенная эта машинка, которую ей довелось обслуживать, родом из министерства иностранных дел и императорского дома, ибо оттуда принес ее вчера вечером слуга вместе с карандашами и бумагой. Время между тем подошло к семи; Рахиль быстро окинула генеральским взглядом все мелочи и поспешно вышла из комнаты, чтобы разбудить Диотиму, ибо уже на четверть одиннадцатого было назначено заседание, а Диотима после ухода хозяина осталась еще ненадолго в постели.

Эти утренние часы с Диотимой были особой радостью для Рахили; слово «любовь» тут не годится; скорее подойдет слово «самозабвение», понимать которое нужно так, что человек настолько полон почтительности, что в нем уже не остается места ему самому. После того приключения на родине у Рахили была полуторагодовалая теперь девочка, чьей приемной матери она пунктуально каждое первое воскресенье месяца отдавала большую часть своего жалования; по тем же дням она и видела свою дочь; но хотя она и не пренебрегала своими материнскими обязанностями, она видела в них только заслуженное в прошлом наказание, и чувства ее стали снова чувствами девушки, чье невинное тело еще не открыто любовью. Она подошла к постели Диотимы, и с благоговением альпиниста, взирающего на снежную вершину, которая

вздывается из утренней темноты в первую голубизну, взгляд ее скользнул по плечу госпожи, прежде чем она коснулась пальцами перламутрово-нежного тепла кожи. Затем она наслаждалась тонким и сложным благоуханием руки, сонно выпроставшейся из-под одеяла, чтобы дать поцеловать себя, и пахнувшей духами предыдущего дня, но также и испарениями ночного покоя; подала ищущей голой ступне домашнюю туфлю и поймала пробуждающийся взгляд. Чувственное соприкосновение с этим великолепным женским телом было бы для нее, однако, вовсе не так прекрасно, если бы она не была вся проникнута сознанием нравственной значительности Диотимы.

– Ты поставила для его сиятельства стул с подлокотниками? У моего места серебряный колокольчик? Положила перед местом секретаря двенадцать листов бумаги? И шесть карандашей, Рашель, шесть, а не три, у места секретаря? – сказала Диотима на этот раз.

При каждом из этих вопросов Рахиль мысленно еще раз пересчитывала по пальцам все, что она сделала, и от честолюбия пугалась так, словно для нее решался вопрос жизни. Госпожа ее накинула халат и направилась в комнату, где должно было происходить совещание. Ее способ воспитывать «Рашель» состоял в том, что какое бы дело ее горничная ни делала или оставляла незавершенным, Диотима напоминала ей, что оно имеет не только личное, но и всеобщее значение. Если Рахиль разбивала стакан, то «Рашель» узнавала, что урон тут сам по себе совершенно ничтожен, но что прозрачное стекло есть символ маленьких повседневных обязанностей, которых глаз почти не воспринимает, потому что рад устремиться ввысь, но которым именно поэтому следует уделять особое внимание... И при таком церемонно-вежливом отношении у Рахили увлажнялись глаза от раскаяния и счастья, когда она сметала в кучу осколки. Кухарки, от которых Диотима требовала корректности в мыслях и признания собственных ошибок, уже не раз менялись с тех пор, как Рахиль поступила на службу, но Рахиль любила эти дивные фразы всем сердцем, как любила императора, похороны и сверкающие свечи в сумраке католических церквей. От случая к случаю она лгала, чтобы выпутаться из какой-нибудь неприятности, но после этого она казалась себе очень скверной; она, может быть, даже и любила мелкую ложь, потому что благодаря ей чувствовала всю свою скверность по сравнению с Диотимой, но обычно позволяла себе врать только тогда, когда надеялась, что еще сумеет быстро и тайком превратить ложь в правду.

Когда человек так во всем оглядывается на другого, то случается, что его тело от него прямо-таки улетает и, как маленький метеорит, падает на солнце другого тела. Диотима не нашла ни в чем непорядка и ласково похлопала по плечу свою маленькую служанку; затем она направилась в ванную и приступила к туалету для великого дня. Когда Рахиль разбавляла воду, вспенивала мыло или вытирала мохнатым полотенцем тело Диотимы с такой смелостью, словно это было ее собственное тело, ей доставляло все это куда больше удовольствия, чем если бы то было и в самом деле всего-навсего ее собственное тело. Оно казалось ей ничтожным и недостойным доверия, о нем она даже и в порядке сравнения совершенно не думала, у нее, когда она дотрагивалась до скульптурной полноты Диотимы, было на душе так, как у рекрута из мужичья, который попал в блестящий красотой полк.

Так была оснащена Диотима для великого дня.

## 42. Великое заседание

Когда к назначенному часу скакнула последняя минута, появился граф Лейнсдорф в сопровождении Ульриха. Рахиль, уже плававшая, потому что дотоле непрерывно прибывали гости, которым она отпирала дверь и помогала раздеться, узнала Ульриха сразу же и удовлетворенно приняла к сведению, что и он был не рядовым посетителем, а человеком, приведенным в дом ее госпожи важными обстоятельствами, как то обнаружилось теперь, когда он прибыл вторично в обществе его сиятельства. Она порхнула к той внутренней двери, которую торжественно отворяла, и примостилась перед замочной скважиной, чтобы узнать, что теперь будет. Скважина была широкая, и Рахиль увидела бритый подбородок главы банка, фиолетовый шейный платок прелата Недоманского, а также золотой темляк генерала Штумма фон Бордвера, делегированного военным министерством, хотя оно, собственно, не было приглашено; тем не менее в письме к графу Лейнсдорфу оно заявило, что не хочет оставаться в стороне от такого «высокопатриотического дела», хотя и не имеет непосредственного касательства к его истокам и его нынешней стадии. Диотима, однако, забыла сообщить это Рахили, а потому та была очень взволнована присутствием на совещании офицера, но пока не могла ничего больше выяснить насчет того, что происходило в комнате.

Диотима тем временем принимала его сиятельство и не оказывала Ульриху особого внимания, ибо представляла присутствующих и первым представила его сиятельству доктора Пауля Арнгейма, заявив, что счастливая случайность привела сюда этого знаменитого друга ее дома и что хотя он, как иностранец, не смеет притязать на участие в заседаниях по всей форме, она просит оставить его как ее личного консультанта, ибо – и тут она присовокупила мягкую угрозу – его большой опыт и контакты в области международной культуры и по части связей этих вопросов с вопросами экономики – неопценимая опора для нее, а заниматься всем этим ей до сих пор приходилось одной, да и в будущем заменить ее удастся, вероятно, не так скоро, хотя она слишком хорошо знает недостаточность своих сил.

Граф Лейнсдорф почувствовал, что его атакуют, и впервые с начала их отношений подивился бестактности своей буржуазной приятельницы. Арнгейм тоже почувствовал смущение, как суверен, чье прибытие не подготовили подобающим образом, ибо был твердо убежден, что граф Лейнсдорф знает, что его, Арнгейма, пригласили, и это одобрил. Но Диотима, чье лицо в этот миг покраснело и приняло упрямое выражение, не отступила, и, как все женщины, у которых в вопросах супружеской нравственности совесть слишком чиста, она способна была проявить невыносимую женскую настырность, если речь шла о чем-то достопочтенном.

Она уже тогда была влюблена в Арнгейма, успевшего несколько раз у нее побывать, но по неопытности понятия не имела о природе своего чувства. Они обсуждали друг с другом все, что волнует душу, которая облагораживает плоть от пят до корней волос и превращает сумбурные впечатления цивилизованной жизни в гармоническую вибрацию духа. Но и это было уже много, а поскольку Диотима привыкла к осторожности и всю жизнь старалась ни в коем случае не скомпрометировать себя, эта доверительность показалась ей слишком внезапной, и она вынуждена была мобилизовать очень большие чувства, прямо-таки великие, а где найдешь таковые скорее всего? Там, где им все на свете отводят место, – в истории. Параллельная акция была для Диотимы и Арнгейма, так сказать, островком безопасности среди усиливавшегося движения их душ друг к другу; в том, что свело их в такой важный момент, они усматривали особую судьбу и ни йоту не расходились во мнении, что великое отечественное предприятие – это невероятный случай и невероятная ответственность для людей умных. Арнгейм тоже говорил это, хотя ни разу не забывал прибавить, что самое важное тут – сильные, опытные как в области экономики, так и по части идей люди, а объем организации имеет второстепенное значение. Так параллельная акция неразделимо сплелась у Диотимы с Арнгеймом, и ску-

дость представлений, связанная поначалу с этим предприятием, уступила место великому их обилию. Ожидание, что заключенное в австрийском духе богатство чувств может быть усилено прусской дисциплиной мысли, оправдалось самым счастливым образом, и впечатления эти были настолько сильны, что эта корректная женщина оказалась нечувствительной к самоуправству, которое она совершила, пригласив Арнгейма на учредительное заседание. Теперь уже поздно было передумывать; но Арнгейм, интуитивно понимавший, как тут все связано, находил в этой связи что-то существенно примирительное, хоть и досадовал на положение, в которое его поставили, а его сиятельство был, в сущности, слишком благосклонен к своей приятельнице, чтобы выразить свое удивление резче, чем непроизвольно; он промолчал в ответ на объяснение Диотимы и после маленькой неловкой паузы милостиво протянул руку доктору Арнгейму, самым вежливым и самым лестным образом назвав его при этом желанным гостем, каковым тот и был. Из прочих собравшихся большинство, конечно, заметили эту сценку и если знали, кто такой Арнгейм, то удивлялись его присутствию, но в обществе благовоспитанных людей предполагается, что на все есть свои причины, и считается дурным тоном с любопытством до них доискиваться.

Между тем Диотима вновь обрела свое скульптурное спокойствие, открыла через несколько минут заседание и попросила его сиятельство оказать ее дому честь, взяв на себя обязанности председателя.

Его сиятельство произнес речь. Он уже не один день готовил ее, а характер его мышления был слишком тверд, чтобы он сумел изменить в ней что-либо в последний момент; он смог только смягчить самые явные намеки на прусское игольчатое ружье (коварно опередившее в 1866 году австрийское дульно-зарядное).

– Свело нас, – сказал граф Лейнсдорф, – наше согласие в том, что могучая, идущая из гущи народа демонстрация не может быть отдана на волю случая, а требует прозорливого руководства со стороны инстанции с широким кругозором, то есть сверху. Его величество, наш любимый император и владыка, справит в тысяча девятьсот восемнадцатом году уникальнейший праздник семидесятилетнего благословенного правления – дай бог, в том добром здорье и с той бодростью сил, какими мы привыкли в нем восхищаться. Мы уверены, что благодарные народы Австрии отметят этот праздник таким способом, который покажет миру не только нашу глубокую любовь, но и тот факт, что австро-венгерская монархия прочно, как скала, сплотилась вокруг своего властителя.

Тут граф Лейнсдорф заколебался, не зная, следует ли ему упомянуть о приметах распада, которому скала эта была подвержена даже при дружном чествовании императора и короля; ведь при этом приходилось считаться с сопротивлением Венгрии, признававшей только короля. Поэтому его сиятельство первоначально хотел говорить о двух скалах, стоявших в тесной сплоченности. Но и это еще не давало его чувству австро-венгерской государственности верного выражения.

Это чувство австро-венгерской государственности строилось настолько странно, что почти напрасный труд – объяснить его тому, кто сам с ним не сталкивался. Состояло оно вовсе не из австрийской и венгерской частей, которые, как следовало бы думать, дополняли друг друга, а из целого и части, а именно из чувства венгерской и чувства австро-венгерской государственности, и это второе процветало в Австрии, отчего чувство австрийской государственности, по сути, не имело отечества. Австриец встречался только в Венгрии, да и там как объект неприязни; дома он называл себя подданным представленных в имперском совете королевств и земель австро-венгерской монархии, а это то же самое, что австриец плюс венгр минус этот венгр, и делал он это отнюдь не с восторгом, а в угоду идее, которая была ему противна, ибо он так же терпеть не мог венгров, как венгры его, отчего вся эта взаимосвязь делалась еще запутаннее. Многие называли себя поэтому просто чехом, поляком, словенцем или немцем, а отсюда начинались тот дальнейший распад и те известные «неприятные явления внутрители-

тического характера», как их называл граф Лейнсдорф, которые, по его словам, были «делом безответственных, незрелых, падких на сенсации элементов», не получивших должного отпора у политически отсталого населения. После этих намеков, о предмете которых с тех пор написано множество компетентных и умных книг, читатель будет рад принять заверение в том, что ни в данном месте, ни ниже не будет предпринято серьезной попытки нарисовать историческую картину и вступить в состязание с реальностью. Вполне достаточно замечания, что тайны дуализма (так звучал специальный термин) понять было по меньшей мере так же трудно, как тайны триединства; ведь более или менее везде исторический процесс походит на юридический – с сотнями оговорок, приложений, компромиссов и протестов, и обращать внимание следовало бы только на них. Обыкновенный человек живет и умирает среди них, ни о чем не подозревая, но только себе на благо, ибо, захоти он дать себе отчет в том, в какой процесс, с какими адвокатами, издержками и мотивами он впутался, его бы, наверно, охватила мания преследования в любом государстве. Понимание реальности – дело исключительно историко-политического мыслителя. Для него настоящее время следует за битвой при Мохаче или при Лютцене, как жаркое за супом, он знает все протоколы и обладает в любой момент чувством процессуально обоснованной необходимости; а уж если он, как граф Лейнсдорф, мыслитель-аристократ, прошедший политико-историческую школу, деды, родственники и свойственники которого сами участвовали в предварительных переговорах, то обозреть результат ему так же легко, как плавно восходящую линию.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.